

Фьямметта

Автор:

Джованни Боккаччо

Фьямметта

Джованни Боккаччо

«Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорее дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц...»

Джованни Боккаччо

Фьямметта

Начинается книга, называемая элегией мадонны Фьямметты, посланная ею влюбленным женщинам

Пролог

Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливости смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благостными к несчастным: вы здесь не найдете греческих басен[1 - Греческие басни (Эзопа), очень популярные в средние века, были известны Боккаччо в широко распространенных в эпоху средневековья латинских переводах и переделках (первыми из них были басни Федра). Во времена Боккаччо жанр басни воспринимался как произведение на моральные темы.], украшенных выдумкой, ни битв троянских[2 - Т. е. рассказов о легендарной Троянской войне, описанной Гомером.], запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно, или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то, уверена, нежные лица ваши залете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, будут они утешением в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой, нежели прочной, начиная со счастливых дней, чтобы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем доведу свое слезное повествование как могу до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я – удрученная, заливаясь слезами, молю – если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моею скорбью, – молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу найти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.

Я родилась от благородных родителей[3 - Намек на высокое происхождение прототипа Фьямметты – Марии д'Аквино, которая, как известно, была побочной дочерью короля Неаполя Роберта Анжуйского.], воспринятая благостной и щедрой судьбою, в то время года, когда возрожденная земля кажется наиболее прекрасной. О проклятый и противнейший из всех дней день моего рожденья! Сколь счастливей было бы мне не родиться или быть погребенной тотчас после печального рождения! Если б имела я не более долгий век, нежели зубы, посеянные Кадмом[4 - О Кадме, легендарном основателе Фив, ср. у Овидия («Метаморфозы», III, 1 сл.).]

, если б Лакесис[5 - Лакесис – одна из Мойр, согласно Платону («Государство», кн. X, гл. 14), обладавшая способностью открывать людям прошлое.]

, свою нить начавши, оборвала тотчас! В младенческом возрасте прекратились бы бесконечные скорби, что ныне печально нудят меня к писанию. Но к чему эти жалобы! Тем не менее я живу, такова воля господня, чтобы я существовала. Итак, рожденная, как я уже сказала, среди благ жизни и вскормленная в них, отданная с детства до нежного отрочества под надзор почтенной наставницы, я приобрела привычки и манеры, свойственные знатным девицам. И как мой рост с годами увеличивался, так усиливалась и моя красота, источник моих необычайных бедствий. Увы! когда еще маленькую меня хвалили многие за красоту, я гордилась этим и старалась с усердием и искусством сделать еще большею свою прелесть.

Сделавшись более взрослой и угадав, наученная природой, какие желания возбуждают прекрасные дамы в юношах, я узнала, что моя красота (несчастный дар для тех, кто желает жить добродетельно) рождала любовный пламень в моих сверстниках и в других благородных людях. И они различными способами (мало мне тогда известными) пытались неоднократно возжечь во мне тот же огонь, которым сами горели и от которого я впоследствии больше, чем кто бы то ни было, не только согрелась, но и сгорела; многие усердно ко мне сватались, но так как я вышла замуж за одного из них, вполне подходящего ко мне во всех отношениях, то вся толпа влюбленных, как бы лишенная надежды, перестала меня добиваться. А я, совершенно довольная таким супругом, жила в полном счастье до той поры, пока неистовая страсть с небывалою силой не овладела

молодою душой. Увы! не было ничего, способного успокоить мое или какой-либо другой женщины желание, что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!

В то время, как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, – судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если б я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, – и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.

Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью деревьев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и сделав из отобранных милый веночек, надела его на голову. И так украсясь, поднялась – что Прозерпина

, когда Плутон ее от матери похитил[6 - О похищении Плутоном юной Прозерпины Боккаччо читал, несомненно, у Овидия («Метаморфозы», V, 332 сл.); так с песней шла я раннею весною; потом, устала что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же как Эвридику

в нежную ногу сокрытая ужалила змея[7 - Это сравнение навеяно чтением Вергилия («Георгики», IV, 457–459): // Ибо, пока от тебя убегала, чтоб кинуться в реку, // Женщина эта, на смерть обреченная, не увидала // В травах огромной, у ног, змеи, охраняющей берег.], меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; не взвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к

прежней ране и долго кровь мою пила, пока – так снилось мне – вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханием вместе, вясь, вясь по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая[8 - Ср. у Данте («Рай», III, 122-123): // ...исчезая под напев, // Как тонет груз и словно тает въяве.], так и она исчезла из глаз моих. Тогда я увидела небо, все закрытое мраком, будто, казалось, солнце затмило и настала ночь, как случилось это у Греков после преступления Атрея[9 - Атрей был царем Микен. См. в «Дополнениях» примечания Боккаччо.]

, и беспорядочные блистания пробегали по небу, и трескучие громы ужасали меня и землю. А рана, доселе одним укусом отмеченная, наполнилась змеиным ядом и, казалось, все тело мое обратила в гнойный нарыв; и я прежде, казалось, не знаю как остававшаяся без дыхания, почувствовав, что яд подступает к сердцу, в тоске предсмертной по свежей траве начала кататься. И смертный час, казалось, уже наступал; страх ужасной грозы и предсмертная боль в сердце так усилились, что потрясли спящее тело и разрушили крепкий сон[10 - Ср. вещие сны в «Декамероне» (д. IV, нов. 6, д. IX, нов. 7).]. Проснувшись, я тотчас (еще в страхе от виденного) схватилась правою рукою за укушенный бок, ища там того, что лишь в будущем ему предназначалось, но найдя его невредимым, развеселилась, успокоилась и начала смеяться над нелепыми снами, не придав значения небесному знамению. Ах я несчастная! Как справедливо, что презревши предзнаменования вначале, потом я им поверила с тяжелой болью и бесполезно плакалась, жалуясь на небеса, что открывают нам так темно, что почти не открывают тайны, которые можно назвать уже свершившимися. Итак, проснувшись, я подняла сонную голову и, увидев, что в комнату сквозь щель вливалось утреннее солнце, – отбросив думы, быстро вскочила.

Тот день был один из самых торжественных дней[11 - Страстная суббота. Некоторые ученые (Кошен, Маникарди, Массера) полагают, что эта встреча состоялась 27 марта 1334 г. Но большинство предлагает другую дату: 30 марта 1336. А. Н. Веселовский (Собр. соч., т. V, стр. 113) предлагал свой вариант – 11 апреля 1338, что несомненно слишком поздно и не вяжется с хронологией других произведений Боккаччо.], почему я и оделась тщательно в златотканые одежды и, искусно украсившись, как богини, сошедшие к Парису

, в долину Иды[12 - Миф о суде Париса подробно изложен Боккаччо в его «Любовном видении» (песнь XXVII).], приготовилась идти на величайший праздник. И меж тем как я, что павлин, собою любовалась, думая понравиться другим не меньше, чем самой себе, – цветок из моего венка, зацепившись за постельный полог, или, быть может, невидимой небесною рукою с головы у меня сорванный, упал на землю, – но я, не заботясь о тайных божеских знаках, как ни в чем не бывало, подняла его, воткнула в волосы и направилась в путь. Увы, какой более ясный знак будущего могли мне дать боги? Конечно, никакого. Этого достаточно было, чтоб показать мне, что с сегодняшнего дня моя свободная и независимая душа, отложив свою власть, должна стать рабою, что и случилось. О если бы я не была безумной, конечно, я узнала бы, что этот день несчастен, и провела бы его не выходя из дому. Но боги, хотя и указывают путь спасенья тем, на кого разгневаны, лишают их должной способности понимать эти знаки, в одно и то же время исполняя свой долг и утоляя гнев свой. Итак, судьба толкнула меня из дому, беззаботную и суетную; в сопровождении многих женщин я не спеша достигла святого храма[13 - Встреча Боккаччо с Марией д'Аквино произошла в церкви Сан-Лоренцо в Неаполе.], где уже шла служба, соответствующая празднику.

Вследствие моего благородного происхождения, по старинному обычаю, мне было оставлено достаточно почетное место между другими женщинами; заняв его, я по привычке обвела глазами храм, наполненный мужчинами и женщинами, расположенными разнообразными группами. Не успели во время священной службы заметить, что я вошла в храм, как случилось то, что случалось во все прошлые разы, а именно: не только взоры мужчин обратились ко мне, но даже женщины смотрели на меня, будто никогда ими не виданная Венера или Минерва сошли на то место, где я стояла. Как смеялась я про себя над всем этим, довольная сама собою, гордясь не менее богини! И почти все юноши, перестав смотреть на других женщин, окружили меня, как венком, и, рассуждая о моей красоте, единогласно прославляли ее. Но я, смотря в другую сторону, делала вид, что занята другой заботой, и прислушивалась к желанной сладости их слов, которая как бы обязывала меня взглянуть на них более благосклонно; и я глядела не раз, не два, так что некоторые, пленившись тщетной надеждой, суетно хвастались моими взглядами перед товарищами.[14 - Ср. в «Амето» рассказ Акримонии.]

Меж тем как я таким образом изредка взглядывала на некоторых и упорно созерцалась многими, думая пленить другого своею красотою, случилось, что сама постыдно в плен попалась. Уже приближаясь к тому моменту, который был причиной или вернейшей смерти, или прискорбнейшей жизни, не знаю, каким

подвигнутая духом, подняла я с должною важностью глаза и острым взором различила в толпе окружавших меня юношей одного, стоявшего прямо против меня, прислонившись к колонне, отдельно от других, и я стала наблюдать его и его манеры (чего прежде никогда не делала). Скажу, что по моим наблюдениям (еще свободным от любви) он был прекрасен по наружности, приятен по манерам, приличен по одежде; кудрявый пушок, ясный признак молодости, едва опушал его щеки, а на меня он взирал чувствительно и робко. Конечно, я нашла бы силы воздержаться от взоров, но мысль о всем замеченном, что я выше перечислила, не что другое, как я сама, влекла меня к тому. Воображая себе с каким-то молчаливым наслаждением его черты, уже запечатленные в моей душе, я находила новое подтверждение справедливости моих наблюдений, довольная тем, что он на меня смотрит, я изредка поглядывала украдкой, продолжает ли он делать это.

Когда, не боясь любовных силков, один раз я замедлила свой взор на нем, его глаза, казалось, говорили: «Госпожа, ты одна – наше блаженство». Я солгала бы, сказав, что это было мне неприятно, мне это было так приятно, что из груди я испустила было нежный вздох, сказать готовый: «а вы – мое», но спохватившись, я его подавила в себе. Но что из этого? что не было выражено, сердце понимало, в себе оставляя то, что, выйдя наружу, может быть, сделало бы его свободным. С этой минуты, дав большую волю неразумным глазам, я услаждала их тем, к чему они уже возымели желание; конечно, если бы боги, ведущие все дела к известному концу, не отняли у меня разума, я бы смогла еще сохранить свободу; но отложив все соображения, я отдалась влеченью и тотчас стала готовою попасться в плен. Подобно тому как огонь сам перелетает с места на место, так из его глаз тончайшими лучами свет проник в мои глаза, и не довольствуясь остаться в них, сокрытыми путями проникнул в сердце[15 - Этот поэтический образ – любовь, проникающая в сердце через глаза – был очень распространен в любовной лирике эпохи, прежде всего у Петрарки и особенно – у его последователей.]. А сердце, в страхе от внезапно нашедшего огня, призвало к себе все мои силы, так что я осталась бледною и почти похолодевшею; но недолго длилось такое состояние, скоро наступило противоположное, и сердце не только почувствовало себя согретым, но и все силы, вернувшись на свои места, принесли с собою такой жар, что вогнали меня в сильную краску и распалили как пламя, и я вздыхала, видя, отчего все это происходит. С той поры ни о чем я больше не думала, как только, чтобы ему понравиться.

Меж тем юноша, не сходя с места, осторожно взглядывал и, быть может, зная, как опытный не в одном любовном бою[16 - Сходный образ использован Боккаччо в «Филоколо»], чем достичь желанной добычи, всякий раз с крайним

смирением делал вид благоговейный и полный влюбленного желания. Увы! какой обман скрывался под этим благоговением, которое, как сейчас последствия покажут, уйдя из сердца (куда никогда более не возвращалось), лживо на его лице начертано было. Но не имея намерения рассказывать о всех его поступках, исполненных всецело обмана как в замысле, так в осуществлении, скажу только о том, что всем могу сказать, о внезапно охватившей меня неожиданной любви, которая и до сих пор меня держит.

О, сострадательные дамы, это был тот, кого мое сердце в безумном влечении меж стольких знатных, прекрасных, смелых юношей всей моей Партенопей[17 - Партенопея - т. е. Неаполь. По преданию, назван так по имени сирены Партенопы, бросившейся в море и превратившейся в утес после того, как Одиссей со спутниками проехал мимо и не обратил внимание на ее песни.], - выбрало первым, последним, единственным властителем моей жизни; Это был тот, кого любила и люблю я больше всех; это был тот, кому суждено было стать первой причиной моих бедствий и, думаю, жалкой моей смерти. В тот день впервые из свободной я сделалась презренной рабой; в тот день впервые я узнала любовь, неведомую мне дотоле, в тот день впервые любовный яд мне сердце чистое и целомудренное отравил. Увы мне жалкой! Сколько бед принес мне этот день! Увы, скольких мук и тоски не знала бы я, когда бы обратился в ночь тот день! Увы, сколь был враждебен моей чести этот день! Что говорить? Прошлые проступки гораздо легче порицать, чем исправлять. Как я уже сказала, я полюбила; и была ли то адская сила, или враждебная судьба, позавидовавши моему чистому счастью, посягнула на него, но она заранее могла торжествовать несомненную победу.

Итак, охваченная новой страстью, как бы вне себя от изумления, сидела я среди женщин, пропуская мимо ушей святую службу, которая еле достигала моего слуха, но не понимания, и различные разговоры подруг. И так вся я занята была новой внезапною любовью, что все время то мысленно, то глазами смотрела на возлюбленного юношу, сама почти не зная, какой конец предвидеть столь пламенному желанию. О, сколько раз, желая видеть его ближе, я осуждала, зачем стоит он там с другими позади, ценя в то же время его осторожную сдержанность; как надоедали мне молодые люди, что его окружали, а некоторые из них, в то время как я смотрела на него, думали, что на них направлен мой взгляд, и считали, что они любимы мною. Меж тем как мои мысли находились в таком состоянии, окончилась торжественная служба и уже поднялись, чтобы уходить, мои подруги, когда я догадалась об этом, придя в себя от мечтаний о любимом юноше. Итак, вставши с другими, я подняла на него глаза и увидела в его взорах то, что мои хотели бы сказать: «как горько

уходить!» Но все-таки, вздохнув не раз, я удалилась, не зная, кто он.

Сострадательные дамы, кто бы поверил, что в один миг сердце так может измениться? Кто бы сказал, что можно, не видя ни разу прежде, с первого взгляда так сильно полюбить? Кто бы подумал, что желанье лицезреть может так возгореться, что перестав видеть, мучишься жестокою скукой, единственно желая снова встретить? Кто бы вообразил, что все другое, что прежде веселило, вдруг разонравится от нового пристрастия? Никто, конечно, кто не испытал или не испытывает того, что случилось со мною. Увы, как теперь любовь ко мне неслыханно жестока, так и вначале, чтобы схватить меня, угодно было ей применить отличные от обыкновенных средства! Я слыхала, неоднократно, что у других желания сначала бывают легкими, потом же, возрастая в мыслях, крепнут и делаются глубокими; у меня же не так; с какою силою вошли они в сердце, с такой же там пребывали и пребывают. Любовь с первого дня всецело овладела мною; как сырое дерево трудно загорается, но загоревшись, тем дольше и пламенней горит, так и со мною. Дотоле никогда не побеждаемая никаким желанием, несмотря на многие искушения, наконец одним побежденная, воспламенела и пламенею и как никто никогда служила и служу огню, меня охватившему.

Оставляя в стороне многие мысли, что в это утро мне приходили, и другие обстоятельства, кроме вышеупомянутых, скажу только, что зажженная новым огнем, вернулась я, раба душою, туда, откуда вынесла ее свободной. Там, оставшись одна в своей комнате, воспламененная различными желаньями, полная новых дум, томимая множеством забот, устремленных к запечатленному образу желанного юноши, я подумала, что будучи не в силах отогнать любви, должна я тайно и бережно сохранить ее в скорбной груди; лишь испытавший знает, сколь это тяжело, поистине считаю, что тяжелее это, чем сама любовь. Укрепившись в таком намерении, сама себе себя я называла влюбленною, не ведая в кого.

Долго было бы говорить, какие и сколько мыслей эта любовь во мне родила. Но некоторые из них понуждают меня, как бы мимо воли, объяснить, как некоторые вещи начали, против ожидания, мне нравиться. К тому же признаюсь, что все забыв одну отраду я находила – мечтать о любимом юноше, и думая, что такая настойчивость может обнаружить то, что я желала скрыть, часто я упрекала себя в этом, – но что пользы? Мои упреки уступали моим желаньям и, бесполезные, улетали с ветром. Я с каждым днем все сильнее хотела узнать, кто он, любимый мною, к которому влекли меня думы, и тайком к немалой радости

своей узнала это; наряды, к которым прежде, не нуждаясь в них, была я равнодушна, стали милы мне от мысли, что в убранстве я более понравлюсь; и больше прежнего ценить я стала одежды, золото, жемчуг и другие драгоценности. До той поры я посещала церкви, праздники, сады и лодочные гонки лишь для того, чтобы быть с молодежью, теперь же с новым жаром искала этих мест из желанья видеть и показать себя на радость всем. Обычная уверенность в своей красоте стала меня покидать, и я ни разу не вышла из своей комнаты, не посоветовавшись с верным зеркалом, а мои руки, не знаю какому новому искусству научившись, каждый день находили новые, все более прекрасные убранства, к природной красоте прибавив мастерство, и делали меня блистательнейшей между всеми.

Также и знаки уважения, оказываемые мне другими женщинами из чистой любезности или вследствие моего знатного происхождения, начали считаться мною должными, так как я думала, что чем более возлюбленному буду казаться пышной, тем более буду ему угодной; свойственная женщинам скупость, покинув меня, сделала щедрой, так что я свои вещи считала как бы не принадлежащими мне; смелость возросла и даже женской мягкости стало не хватать, – так запальчиво я относилась к тому, что мне нравилось; ко всему этому глаза мои, дотоле глядевшие скромно, изменили привычку и стали удивительно искусны в своих взорах. Кроме этих перемен, много других произошло со мною, которых не стоит перечислять, во-первых, потому, что это было бы слишком долго, потом вы сами, думаю, знаете, если, как я, влюблены, сколько всяких вещей происходит в подобных случаях.

А юноша был очень благоразумен, как доказал неоднократно опыт. Он редко и достойно приходил туда, где я бывала, и, будто приняв одно со мной решение скрывать от всех любовный пламень, – лишь осторожно на меня взирал. Конечно, если бы я стала отрицать, что при взгляде на него моя любовь (сильней которой ничего не знаю) росла, как бы переполняя душу, – я отрицала бы правду. Его присутствие раздувало горевший во мне пламень и зажигало какие-то потухшие огни, если такие были; но сколь радостно было начало, столь печален был конец, когда я лишалась его лицезрения; тогда глаза, лишённые отрады, несносную причину скорби давали сердцу, все чаще и тяжелее я вздыхала, и желанье, всеми чувствами моими овладев, делало меня как бы вне себя, так что я почти не сознавала, где я; все удивлялись, видя мое состояние, которое потом я должна была объяснять различными предлогами, которые подсказывала мне любовь. А часто, лишившись сна и питания, я поступала более безумно, чем неожиданно, и произносила необычные слова.

Но вот мое щегольство, вздохи, новые манеры, порывы бешенства, утрата покоя и другие перемены во мне, произведенные новою любовью, – возбудили, среди прочих домовых слуг, удивленье моей кормилицы, древней годами и разумом, которая знала, не подавая вида, что за печальный пламень меня сжигает, и часто упрекала меня за перемены. Однажды, увидя меня меланхолично лежащей на кровати с челом, омраченным думами, убедившись, что мы одни, так начала она говорить:[18 - Эта беседа Фьямметты с кормилицей напоминает разговор Федры и ее кормилицы из первого акта одноименной трагедии Сенеки (ст. 131-250).]

«Драгоценная моя дочка, что за заботы тяготят тебя с недавних пор? Ни часа ты не проведешь без вздоха, а прежде я видела тебя всегда веселой без всякой меланхолии».

Тогда я, вздохнув глубоко, краснея и бледнея, притворилась, будто я сплю и не слышу, повертываясь то в ту, то в другую сторону, чтобы иметь время обдумать ответ и наконец, еле выговаривая, ответила:

«Меня, кормилица, дорогая, ничто не тяготит, я все такая же; но время всех меняет, вот и я стала задумчивее».

«Ну, это, дочка, ты меня обманываешь, – ответила старая мамка, – нехорошо уверять старых людей в одном, а на деле показывать совсем другое; да и нужды нет тебе скрывать от меня то, что я давно отлично знаю».

Услышав это, я сказала, как бы рассердившись и обидевшись:

«Если ты знаешь, чего ж ты спрашиваешь? нечего тебе и говорить, раз ты знаешь».

Тогда она сказала:

«Поверь мне, все в тайне сохраню, чего другим не следует знать; провалиться мне на этом месте, если я расскажу что-нибудь, чтоб тебе было не к чести; научилась я за жизнь-то держать язык за зубами. За меня будь покойна, смотри, как бы кто другой не проведал о том, что я знаю не от тебя, не от людей, а по одному твоему виду. Коль тебе самой нравится дурь, что на тебя нашла, и тебе угодно упорствовать, делай как хочешь: тут уж мои советы не помогут. Но так

как этот жестокий тиран, которому так просто ты подчинилась, не остерегшись по молодости лет, с свободой вместе отнимает и рассудок, хочу тебе напомнить и просить: вырви из чистой груди постыдные мысли, угаси пламень бесчестный, не рабствуй мерзостной надежде; теперь время бороться: кто противостоял в начале, тот прогоняет преступную любовь и, побеждая, остается целым; но кто питал ее долгими и льстивыми мыслями, тому поздно свергать иго, которое добровольно наложил на себя».[19 - Ср. у Сенеки («Федра», 137-144): // ...из груди непорочной // Скорее изгони огонь греха // И не давай себя ласкать надежде. // Тот, кто любовь в начале подавил, // Воистину бывает победитель. // Но кто питал и возлелеял зло, // Нести ярмо, которому подпал, // Отказывается, но слишком поздно.]

«Увы, – сказала я тогда, – насколько легче это говорить, чем делать!»

«Хоть и не очень легко это сделать, – ответила она, – однако можно и следует. Ну что ж, ты хочешь из-за одного дня потерять и забыть знатность твоей родни, славу о твоей добродетели, красу цветущую, честь и, главное, своего мужа, столь любящего и любимого тобою? Конечно, ты не должна этого хотеть и, я уверена, что здраво поразмыслив, ты не захочешь этого. Ради бога, удержишься и отгони обманчивые радости, что обещав тебе нечистая надежда и с ними страсть. Умильно я тебя прошу, заклиная эту старую, иссохшую грудь, которую ты первая питалась, – спаси сама себя и честь свою и не отвергай моей помощи; ведь тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает».

Тогда я начала:

«Дорогая кормилица, я знаю хорошо, что говоришь ты правду, но страсть меня влечет в другую сторону[20 - Ср. у Сенеки («Федра», 194-196): // Я знаю, // Кормилица, ты правду говоришь. // Но страсть меня на худший путь влечет.], моя душа и чрезмерные желанья с нею заодно; напрасно ты свои советы тратишь, рассудок мой побеждается страстью, во мне царит и владеет мною любовь и бог любви, а ты знаешь, никто не в силах противиться его могуществу».

И так сказав, словно сраженная, упала ей в объятия. Но она, сперва слегка смутившись, опять начала более строгим голосом:

«Вы, толпа прелестной молодежи, распаленная пламенным желаньем и движимая им, вы сочли за божество любовь, которую вернее было бы назвать

страстью. Называя это божество Венериным сыном и рассказывая, что оно получило свое могущество от третьего неба[21 - Третье небо считалось небом Венеры, как третьей по удаленности от Земли планеты (первая и вторая – Луна и Меркурий). Ср. у Данте – «Рай», VIII, 3.], вы ищете свое безумье оправдать неизбежностью. О, вы лжете и совершенно лишены познания! Что говорите? Тот, кто побуждаемый адскою яростью, внезапным летом всю землю обтекает, – не божество, а скорее безумье тех, кто его принимает, хотя он посещает только тех, чьи души знает пустыми от излишка и светского довольства[22 - Эту трактовку Амура, как «ложного» бога, Боккаччо нашел у Сенеки («Федра», 213–227).] и склонными ему дать место, – это достаточно очевидно. И правда, разве мы не видим, что святейшая Венера

часто под скромной кровлей обитает, довольная лишь пользой необходимого нашего размножения[23 - Ср. у Сенеки («Федра», 230–232): // Почему // Свята Венера в хижинах убогих // И здравы страсти у люден простых?]? Конечно, так. Но страсть, что зовется любовью, всегда стремясь к разнузданности, пристаёт лишь к богатству. Там она владеет жалкими душами, внушая отвращенье к пище и одежде, необходимым лишь для жизни, и побуждая к блеску и изысканности, куда она и примешивает свой яд; охотней посещает высокие дворцы, чем хижины, куда заходит редко или никогда; итак это – зараза лишь изысканных мест, всего более подходящих для ее несправедливых действий. В простолюдинах мы наблюдаем здоровые чувства, но богачи, окруженные блеском богатства (к которому они ненасытимы как и ко всему), всегда ищут большего, чем надлежит, кто имеет большую власть, стремится достигнуть той, которой еще не имеет[24 - Ср. у Сенеки («Федра», 234–236): // Богатые, особенно цари, // Стремятся к незаконному? Кто слишком // Могуч, тот хочет мочь, чего не может.]; и я чувствую, что ты, несчастная девушка, одна из них и от избытка благополучия влечешься к новым заботам и новому позору».

Выслушав ее, я сказала:

«Молчи, старая, и не спорь с богами. Теперь, бессильная к любви и справедливо всеми пренебрегавшая, ты поневоле порицаешь то, что прежде хвалила. Если другие женщины более знаменитые, мудрые, могущественные, чем я, звали его богом, я не могу дать ему другого имени; и я подчинена тому, что может быть причиной либо моего счастья, либо горя; сил моих больше не стало: побежденные в борьбе с ним, они меня покинули. Один конец моим страданиям: или смерть или желанный юноша; коль ты мудра, как я тебя считаю, ты бы мне оказала помощь и совет (хотя бы отчасти, прошу тебя), или ты увеличишь мои

муки, пороча то, к чему теперь единственно могут стремиться все силы души моей».

Тогда кормилица в гневе (вполне понятном), не отвечая, а бормоча что-то себе под нос, вышла из комнаты, оставив меня одну.

Уже ушла милая мамушка, умолкли советы, которые я так плохо опровергала; оставшись одна, я все думала о ее словах, которые оказали действие на мой ослепленный рассудок, заколебались только что высказываемые мною намеренья, мелькала мысль, не бросить ли столь справедливо осуждаемые замыслы, хотела я вернуть кормилицу себе на помощь, – как вдруг новый случай остановил меня. В тайную мою комнату не знаю как войдя, моим глазам предстала прекраснейшая жена, окруженная таким сияньем, что его едва выдерживало зренье. Она стояла еще молча передо мною, и по мере того как я напрягала свое зрение и до моего сознания достигало прекрасное виденье, я узрела ее нагою, потому что хотя тончайшее пурпуровое покрывало и обвивало отчасти ее белоснежное тело, но от взоров скрывало его не более, чем прозрачное стекло скрывает человека за ним стоящего; на голове ее (а кудри настолько блеском золото превосходили, насколько это последнее превосходит наши золотистые волосы), на голове ее была гирлянда из мирт, которая оттеняла несравнимой красоты сияющие глаза, чудесные для созерцания, и все в лице ее было исполнено прелести, которой равной не найти. Она ничего не говорила не то довольная, что я люблюсь ею, не то сама люблюсь моим созерцанием; но понемногу через блистающее сиянье открыла мне свою красу, чтобы я узнала, что нет возможности не видя представить или описать такое совершенство. Когда она поняла, что я насытилась лицезреньем, и увидела мое удивленье ее приходу и красоте, с веселым ликом и голосом нежнейшим, чем голос смертных, так начала мне говорить:

«О дева ветреннейшая из всех, что замышляешь делать, вняв советам кормилицы? Не знаешь разве, что следовать им гораздо труднее, чем любви, которой ты бежать желаешь? Ты не гадаешь, сколько и какого они тебе готовят горя? Ты, глупая, едва вступивши к нам, уж хочешь быть не нашей, как тот, кто не знает, какие и сколько у нас наслаждений. О неразумная, остановись и зри, довольно ли тебе того, чего хватает небу и земле. Над всем, что видит Феб

в своем пути от той минуты, когда он подымает с Ганга

свои светлые лучи, до того часа, когда для отдыха он погружает усталую колесницу в Гесперидские воды

, над всем, что заключает холодный Арктур

и раскаленный полюс[25 - Холодный Арктур – т. е. север; раскаленный полюс – т. е. южные земли.], над всем царит бесспорно наш сын крылатый

. И на небе, где много есть богов, нет его могучее, потому что никто не избежал его оружия. На золоченых крыльях, легчайший, он в одно мгновение облетает свое царство и всех посещает, положив на тугую тетиву стрелы, нами сделанные и в наших водах[26 - Т. е. в водах, омывающих остров Кипр, где Венера (прозванная Кицридой) родилась из морской пены.] закаленные; и выбрав достойнейшую себе на служение быстро ее направляет, куда хочет.

Он возжигает жесточайшее пламя в молодых и в усталых старцах вызывает потухший пыл, воспламеняет неведомым огнем чистую грудь девственниц, и замужних со вдовами вновь зажигает. И богов, загоревшихся от его факела, он принуждает, покинув небо, сходить на землю под личинами. Разве Феб[27 - Рассказ о победе Феба над чудовищным змеем Пифоном см. у Овидия («Метаморфозы», I, 438–451).], победивший великого Пифона

и настроивший парнасскую кифару

, разве он не был много раз под его игом, то из-за Дафны[28 - О Дафне, первой любви Феба – см. у Овидия («Метаморфозы», I, 452–567).]

, то из-за Климены[29 - См. у Овидия («Метаморфозы», I, 748–779).]

, то из-за Левкотои[30 - Ср. у Овидия («Метаморфозы», IV, 194–197): // Ты, опаляющий всю огнями небесными землю, // Сам ты пылаешь огнем; ты, все долженствующий видеть, // На Левкотою глядишь; не на мир, а на девушку только // Взор направляешь теперь.]

, то из-за многих других

? Конечно да; и наконец, заключив свое сиянье в форму пастушка, влюбленный, пас он стада Адмета[31 - Об этом рассказано у Овидия («Метаморфозы», II, 680–706).]

Сам властитель неба, Юпитер, побуждаемый любовью, принимал низшие формы, то под видом белой птицы

, хлопая крыльями, издавал более нежные звуки, чем предсмертная песнь лебедя, то обернувшись тельцом

, украсив лоб рогами, мычал в полях, свою спину унижил девичьей ношей и чрез братское владенье греб раздвоенными копытами, избегая пучин, и наслаждался своей добычей. То же он сделал для Семелы

, не меняя лика, для Алкмены, обратившись в Амфитриона

, для Каллисто, приняв вид Дианы

, для Данаи, сделавшись золотым дождем

, - всего не перечислить[32 - О всех этих превращениях Юпитера рассказывает Арахна в «Метаморфозах» Овидия (VI, 103–114), Ср. также у Сенеки («Федра», 204–205): Крылатый этот бог царит над миром И самого Юпитера палит.]. И гордый бог войны

, чья сила внушает до сих пор страх гигантам, под властью любви укротил свой дикий нрав и сделался влюбленным. И привыкший к огню Юпитеров кузнец,

сделавший трезубую молнию

, был поражен еще более могучею, и я сама, хотя и мать, не смогла уберечься, ибо все видели, как я открыто плакала о смерти Адониса

. Но для чего утруждаться словами? Ни один небожитель не остался целым кроме Дианы; одна она, любительница лесов, избежала любви, хотя и думают другие, что скрыла ее только, не избежала.

Но, может быть, примеры небожителей тебя не убеждают и ищешь ты услышать земных подтверждений, – их столько, что начинать почти не стоит, упомяну лишь те, что отличались наибольшей силой. Посмотри прежде всего на сильнейшего сына Алкмены[33 - Сыном Алкмены был Геракл. Далее Боккаччо перечисляет его подвиги (они описаны в книге IX «Метаморфоз»). См. также примечание Боккаччо.], как, отложив стрелы и грозную львиную шкуру

, он украсил пальцы изумрудами, причесал растрепанные волосы и рукою, что прежде носила палицу, убил великого Антея

и вывел из ада пса

, принял пряжу за Иолиной прялкой, а плечи, что вместо Атланта груз высокого неба принимали, теперь впервые заключенные в объятия Иолой, покрылись, чтоб ей понравиться, тонкими пурпурными одеждами[34 - Здесь Боккаччо путает дочь эхалийского царя Иолу, возлюбленную Геракла, и Омфалу, в рабство к которой на три года был отдан Геракл. По ее приказанию он одевался в женскую одежду и выполнял соответствующую работу. Историю любви Геракла и Иолы Боккаччо описал в главе XXVI «Любовного видения».]. А что сделал Парис, любовью движимый? Елена? Клитемнестра?

А Эгист? Всему миру это известно; не нужно говорить также о Ахилле[35 - Боккаччо имеет в виду любовь Ахилла к троянской царевне Поликсене, ставшей причиной гибели героя: пришедший к ней на свидание в храм Аполлона Ахилл был убит Парисом. Миф о Поликсене разработан в трагедии Эврипида

«Геката».), Скилле

, Ариадне[36 - Об Ариадне, покинутой Тесеем, рассказано у Овидия («Метаморфозы», VIII, 174–177 и «Героиды», X) и Катулла (XXIV, 116–201).], Леандре[37 - Любовь Геро и Леандра описана у Овидия («Героиды», XVIII, XIX). Боккаччо упоминает ее в «Любовном видении» (XXIV).], о Дидоне[38 - Взаимоотношения Дидоны и Энея описаны Вергилием в первой песне «Энеиды» (335–756) и Овидием в «Героидах» (VII). Боккаччо, описывая страдания покинутой Фьямметты, вдохновлялся прежде всего рассказом Овидия.] и многих других. Верь мне, это пламя – свято и могуче. Ты видела, как все на небе и на земле, люди и небожители подчинены моему сыну, но что сказать тебе о его власти, простирающейся даже на бессловесных животных и птиц? Через него горлица следует за своим самцом и наши голубки

с теплым чувством возвращаются к своим и никогда их не покидают, а в рощах робкие олени свирепеют, когда другой коснется с желанием той, которой первый боями и мычаньем своей любви давал пламенные признаки, дикие вепри бесятся и скалят клыки, покрытые пеной от любви а африканские львы, пораженные любовью, трясут шеей. Но оставляя леса, замечу, что стрелы моего сына даже через холодную воду поражают стадо морских и речных божеств. Не думаю, чтоб неизвестно тебе было свидетельство Нептуна[39 - О любовных увлечениях Нептуна рассказано у Овидия («Метаморфозы», VI, 115–120). Боккаччо вспоминает о них в «Любовном видении» (XIX, 79–88).]

, Главка[40 - О любви беотийского божества рыбаков и моряков Главка к нимфе Скилле рассказывает Овидий («Метаморфозы», XIII, 900–968).], Алфея

и других, которые своею мокрою водою не то что залить, но утишить не могли того пламени, которое, всем будучи известно на земле и под водою, проникает в глубь земли до самого властителя темных болот.[41 - Т. е. до царя преисподней Плутона, влюбившегося в Прозерпину (см. прим.)]

Итак, небо, земля, море, ад – по опыту знают его оружие; и чтобы ты из кратких слов могла понять всю величину его могущества, скажу тебе: все подчинено природе, ничто от нее не свободно, она же покорствуется любви. Когда она повелевает, стихает древняя вражда и новый гнев сменяется огнем любви; так

широка ее власть, что даже мачехи становятся благосклонными (о диво!) к пасынкам[42 - Намек на Федру, воспылавшую любовью к своему пасынку Ипполиту]. Итак, чего ищешь? В чем сомневаешься? Чего бежишь, безумная? Когда столько богов, людей, зверей побеждены любовью, стыдишься быть ею побежденною? Ты не знаешь, что делать, но если ты боишься нареканий за то, что поддалась любви, они не должны иметь места, потому что примеры тысячи поступков людей, более тебя знаменитых, тебе, менее сильной и менее впавшей в ошибку, будут служить оправданием.

Если же эти слова тебя не трогают и ты все-таки хочешь сопротивляться, Значит ты думаешь быть доблестнее Юпитера, мудрее Феба, богаче Юноны и краше меня, – а мы все побеждены. Ты одна думаешь победить? Ты обманываешься и, наконец, погибнешь. Тебе довольно того, что только вначале было достаточно всем, но пусть это не понуждает тебя равнодушно говорить: у меня есть муж, святые законы и обет мне это запрещают, – потому что пусты эти доводы перед доблестью любви. Она, сильнейшая, небрежет другим законом, уничтожает его и дает свой. И Пасифая[43 - О любви супруги критского царя Миноса Пасифаи к быку рассказывает Овидий «Метаморфозы», VIII, 136 сл.; «Наука любви», I, 285 сл.)] имела мужа, и Федра[44 - Любовь Федры к Ипполиту, помимо ряда драматических произведений (Эврипид, Сенека), нашла отражение в творчестве Овидия («Героиды», IV). Наиболее широко Боккаччо использовал трагедию Сенеки. Боккаччо пересказывает этот миф также в «Любовном видении» (XXII).], и я, а мы любили. Сами мужья, будучи женаты, часто любят других: возьми Ясона[45 - О Ясоне, полюбившем Медею, а затем Креусу, рассказано в трагедиях Эврипида и Сенеки, а также у Овидия («Метаморфозы», VII, 1-158; «Героиды», VI, XII), Стация («Фиваида», V, 335 сл., VI, 336 сл.) и Данте («Ад», XVIII, 86–96). Боккаччо возвращается к этому мифу в «Любовном видении» (XXI).], Тесея[46 - Боккаччо имеет в виду любовь Тесея к Федре, заставившую его покинуть Ариадну.], сильного Гектора[47 - В античных источниках об измене Гектора своей жене Андромахе не рассказывается.], Улисса[48 - Имеется в виду любовь Улисса (Одиссея) к волшебнице Цирцее, удерживающая его от возвращения к жене Пенелопе.]. Не будь к ним несправедлива, судя их другим законом, чем сами они судят, им преимущества перед женами не дано; итак, брось глупые мысли и спокойно продолжай любить, кого полюбила. Ведь если ты не хочешь подчиниться любви, тебе следует бежать, а куда убежишь ты, где бы любовь тебя не догнала? Во всех местах ее могущество равно: ты все равно будешь во владениях Амура, где нельзя скрыться, когда он поразить захочет. Достаточно того, что он тебя воспламенил не нечестивым огнем, как Мирру[49 - Рассказ о любви юной Мирры (или Смирны) к своему отцу Киниру содержится у Овидия («Метаморфозы», X, 300–524). Боккаччо вспоминает Мирру в «Любовном

видении» (XXII, 43–54).], Семирамиду

, Библиду

, Канаку[50 - О любви Канаки, дочери бога ветров Эола (поэтому Овидий называет ее Золиной) к своему брату Макарею см.: «Героиды», XI. Ср. также «Любовное видение», XXV, 10–12.] и Клеопатру

. Ничего необычайного мой сын с тобой не сделал; как всякое божество, он имеет свои законы, не ты первая, не ты, надеюсь, и последняя будешь им следовать. Если ты считаешь себя теперь единственной, ты ошибаешься. Не будем говорить о всем мире, наполненном любовью, но возьмем только твой город, тебе подруг могу указать бесчисленное количество, и помни, что делаемое столькими людьми не может заслуживать названия позорного поступка. Итак, следуй за мною и благодари нашу божественность и красоту, на которую столько любовались, за то, что я вызвала тебя из ряда простых женщин, чтоб узнала ты радость моих даров».

О жалостливые дамы, если любовь благосклонно принимает ваши желания, что можно отвечать таким словам богини, как только не «да будет воля твоя». Она уже умолкла, когда я, рассудив ее слова, нашла их исполненными бесконечного милосердия, и она уже знала, к чему меня подвигла, когда я быстро поднялась с кровати и со смиренным сердцем опустила на колени, так говоря к ней робко:

«О дивная и вечная краса, небесная богиня, госпожа моих мыслей, чья власть тем могучее, чем больше ей сопротивляются, прости мне неразумное противление оружию твоего сына, неузнанного мною, и пусть со мною будет по твоему желанию и обещанью; ты же в урочное время оправдай мою веру, чтобы, взысканная тобою меж другими, я увеличила число твоих бесчисленных подданных».

Едва произнесла я эти слова, как она двинулась с того, места, где стояла, подошла ко мне и с пламенным желаньем на лице, обнявши, поцеловала меня в лоб. Затем подобно лживому Асканию[51 - Имеется в виду эпизод из мифа об Энее и Дидоне: Амур, чтобы зажечь в Дидоне любовь к Энею, превратился в прекрасного юношу Аскания, сына Энея. См. Вергилий, «Энеида», I, 657–722.],

который дыханием зажег в Дидоне тайное пламя, она, дохнув мне в уста, сделала первые мои желания более пылкими, как я почувствовала. И приоткрыв пурпурное покрывало между нежных грудей, показала мне изображение возлюбленного юноши, завернутое в тонкий плащ с предосторожностями вроде моих, – и так сказала:

«Взирай на него, юная жена, – не Лисса[52 - Лисса – богиня безумия, упоминаемая в «Неистовом Геркулесе» Сенеки. Но здесь возможно и другое чтение, делающее более понятным данное место текста: быть может речь идет о Люции, героине «Метаморфоз» Апулея, превращенного в отталкивающего осла.], не Гета[53 - Гета – персонаж одноименной средневековой латинской пьесы, написанной в подражание Плавту французским поэтом второй половины XII в. Виталем де Блуа. Тип распутного раба, характерный для древнеримской комедиографии. Боккаччо упоминает его в «Любовном видении» (XVIII, 77–78), называя его «печальным».], не Биррия[54 - Биррия – это тоже комический персонаж из той же пьесы Витала де Блуа, Боккаччо описывает его в «Любовном видении» (XVIII, 79–84): // Болтливый Биррия здесь тоже появлялся, // Под тяжким грузом книг едва он шел // И без причин обиженным казался; // Вот жалуясь такую речь завел: // «Когда же кончатся, увы, мои мученья, // И этот мерзкий груз я опущу на пол?», не кто-нибудь тебе в возлюбленные дан, достоин он любви богини; по нашей воле тебя он любит и будет любить больше самого себя; итак, без страха, радостно его любви предайся. Твои молитвы тронули наш слух, достойные, и потому надейся, что без ошибки награда ждет твои поступки».

И тут, умолкнув, вдруг из очей моих скрылась.

Увы мне несчастной! Во мне не явилось ни тени подозренья, что, как показало будущее, не Венера являлась ко мне, но скорее Тисифона[55 - Гисифона – одна из трех эриний, богинь мщения в греч. миф.], что, скрывши свои волосы, наводящие ужас, подобно Юноне[56 - Речь идет об известном эпизоде: ревнивая Юнона (Гера) приняла вид старухи и явилась Семеле, возлюбленной Зевса. Ср. Овидий, «Метаморфозы», III, 259 сл.], скрывшей некогда блистание своей божественности, облекшись в светлый вид, как та в старческий, ко мне пришла будто к Семеле, подобным же советом побуждая меня к конечной гибели; и я, приняв его к несчастью, вас, верность благоговейная, почтенный стыд, святейшая чистота, единственное сокровище честных женщин, – вас прогнала я. Но простите мне, ведь можно о прощении молить, хотя бы наказание грешника и продолжалось.

Когда богиня скрылась, я осталась с открытой душой к ее наслаждениям, и будто новый разум мне дала неистовая страсть, которую я сдерживала не знаю как; из всех потерянных мною благ одно осталось: сознание, что редко или никогда так открыто не давалось обещание любви конца счастливого. И потому часто раздумывая о трудно исполнимых замыслах, я решила не рассуждать о желании довести до конца эту именно волю. И правда, как ни теснил меня неоднократно случай, мне была оказываема такая милость, что я проходила горе, мужественно и без промаха борясь. И, верно, силы эти моя еще не исчезли, потому что, хотя я описываю одну правду, но так ее расположила, что, исключая того, кому, как мне, известны все причины, никто, как бы остро у него ни было соображение, не узнает, кто я. И я молю того, если когда-нибудь случайно эта книжечка попадет в руки, любовью молю скрыть все, что не клонится очевидно к его пользе или чести. И если он лишил меня чести, незаслуженно с моей стороны, то пусть он не захочет лишиться меня той чести, которую несправедливо я ношу и которую, как бы он ни хотел, не сможет мне вернуть обратно.

Итак, имея такое намерение и изнемогая под тяжестью страданий, я дала волю заветнейшим желаниям и сумела незаметным образом, когда представился случай, зажечь юношу тем же огнем, каким пылала я, и сделать его осторожным, подобно мне. По правде, это не стоило больших трудов; если лицо – зеркало сердца, то я скоро увидела, что мое желание увенчалось успехом, и его я увидела не только полным любовного жара, но и совершенной осторожности, чему была я крайне рада. Он, питая полное уважение, желая не подвергать опасности мою честь и в то же время, насколько возможно, удовлетворить своим желаниям, с большим трудом и хитростью достиг близкого знакомства с некоторыми моими родственниками и, наконец, с моим мужем; с последним он не только познакомился, но так мило поддерживал это знакомство, что тот не находил большего удовольствия, как находиться с ним. Я думаю, вы знаете и без меня, как было это мне приятно, притом кто был бы настолько глуп, чтоб не понять, что эта близость давала нам возможность иногда разговаривать в присутствии других лиц?[57 - Описанные Фьяметтой отношения любовников напоминают отношения Париса и Елены в передаче Овидия («Героиды», XVI). Ср. также – Овидий, «Любовные элегии», I, IV.]

Но ему уже казалось, что настало время приступить к более тонким вещам, и вот, когда он видел, что я могу его слышать, говоря то с тем, то с другим, он разговаривал о предметах, из которых я узнала, пламенно желая научиться, что словами не только можно выразить свою любовь кому-либо и получить ответ, но что разными движениями рук и лица можно многое показать[58 - Ср. Овидий,

«Любовные элегии», I, IV, 20–28.]; мне это очень понравилось, и я поняла, что нет ничего, чего бы мы не могли друг другу изъяснить и правильно понять. Не довольствуясь этим, чтобы точнее выразить мне свои желания, он придумал называть себя Панфило, а меня – Фьямметтой. О сколько раз, разгоряченный пиром, едой и любовью, перенося Панфило и Фьямметту в Грецию, он рассказывал, как он в меня, а я в него с первого взгляда влюбились и какая нас постигла судьба, давая местам и людям, упоминавшимся в этом рассказе, подходящие названия. Конечно, я часто смеялась не столько над его хитростью, сколько над простодушием слушателей, иногда я боялась, как бы увлекшись он не проболтался[59 - Ср. Овидий, «Героиды», XVII, 83–84, 151–153: // Часто ты мне подавал потаенные пальцами знаки, // Бровью своей шевелил, словно со мной говоря... // Я не напрасно боюсь: осуждают меня уже люди. // Много обидных речей слышала Этра про нас. // Будь осторожен, мой друг... когда отказаться не хочешь!], но он был умнее, чем я думала, и всегда с большою легкостью избегал подобных ошибок.

О сострадательные дамы, чему только не научит любовь своих подданных и кого не сделает способным к науке! Я, совсем простая девушка, едва могущая раскрыть рот между подругами о житейских вопросах, с таким увлечением переняла у него манеру говорить, что в короткое время выдумкой и красноречием превзошла поэтов; и мало было предметов, на которые, узнав положение дела, я не могла бы тотчас ответить вымышленной повестью, а этому, по-моему, не так легко научить девушку, а тем более заставить ее рассказывать или действовать. Если бы нужно было по ходу рассказа, я могла бы сообщить (положим, неважную мелочь), с какою тонкою опытностью мы убедились в верности одной приближенной служанки, которой мы решили открыть тайный огонь, никому еще не известный, рассудив, что, не имея посредников, мы не сможем более скрываться без серьезных несчастий. Так же долго было бы писать о решениях, какие мы с ним принимали по поводу различных вещей; может быть, подобные решения другими не только никогда не приводились в исполнение, но даже в голову не приходили; хотя все они, как я вижу теперь, клонились к моей гибели, однако не потому мне горестно было их узнавать.

Если меня, женщины, не обманывает воображение, не мала была стойкость наших душ, если представить себе, как трудно двум молодым влюбленным столь долгое время не сойти с благоразумного пути, хотя бы обоих толкало к тому сильнейшее желание; неплохо поступили тот и другая, если за этот поступок, соверши его более сильные люди, они достигли бы высокой и достойной похвалы. Но перо мое более приятное, чем достойное, готовится описывать то

состояние любви, когда никто уже, ни волею, ни делом, не может заставить ее уклониться с пути. Но прежде, чем перейду к этому, как только могу, с мольбой взываю к вашему состраданию и к той любовной силе, что, находясь в вашей нежной груди, к такому же концу склоняет и ваши желания, прошу вас, если мой рассказ оскорбит вас (не говорю о фактах, так как знаю, что, если вы не находитесь в таком положении, то желаете находиться в нем), пусть любовь быстро встанет на мою защиту. А ты, почтенная стыдливость, поздно мною узнанная, прости мне: прошу тебя, оставь без угроз робких женщин спокойно прочитать в моей повести о том, чего они сами себе, любя, желают.

День за днем проходили в привычной надежде: оба переносили с трудом такое промедленье, друг другу тайно говоря, как трудно это, свыше сил, как сами вы, которые желаете, чтобы насильно случилось то, чего хотите добровольно, знаете обычаи влюбленных женщин. Итак, он, не доверяя в этом отношении моим словам, выбрав подходящее время и место, более смело, чем мудро, более пламенно, чем искусно, получил от меня то, чего и я (хотя и притворялась в противном) желала. Если бы я говорила, что это было причиной моей любви к нему, я бы призналась, что без сильнейшей скорби не могу об этом вспомнить; но бог свидетель, этот случай был только незначительнейшею причиною моей к нему любви; однако не отрицаю, что это и теперь и тогда было мне всего дороже. И кто бы был так неразумен, чтобы не желать любимый предмет иметь подле себя раньше, чем расстаться? и как усиливается любовь после того, как почувствуешь его близко к себе? Признаюсь, что после этого случая, доселе знаемого мною лишь в мечтах, не раз, не два, но часто судьба и разум наш дарили нас тем счастьем полной радости долгое время, хотя теперь мне кажется, что оно пролетело быстрее и легче ветра.

В течение этих веселых дней ни разу не было, и подтвердить это может любовь, единственная возможная свидетельница, чтоб мой страх, дозволен ли его приход, не был тайным образом им преодолен. О, как дорога была ему моя комната и с какою радостью она его встречала! Он чтит ее, как храм. Увы, сладкие поцелуи! любовные объятия! ночи, до света без сна, проводимые и нежных речах! Сколько других ласк, дорогих любовникам, узнали мы в это блаженное время! святая стыдливость, узда вольным умам, зачем ты не ушла, как я тебя просила об этом? зачем удерживать мое перо, готовое описывать прошлое блаженство затем, чтобы последующее несчастье тем сильнее тронуло состраданием влюбленные сердца? Как ты мешаешь мне, думая оказать помощь! я хочу рассказать гораздо больше, а ты не допускаешь. Но пусть те из вас, кто имеет преимущество по сказанному догадываться о том, что умалчивается, расскажут это другим, менее догадливым. И пусть какая-нибудь

неразумная, будто ничего не понимая, не говорит мне, что было бы приличнее не открывать того, что я написала: кто может противиться любви, когда ее все силы на вас направлены? Я часто клала перо, но вновь брала его, побуждаемая любовью; притом же приличествует, чтобы послушно повиновалась я тому, чему, свободная, сопротивляться сначала не сумела. Я знаю от нее, что радость скрытая такую же имеет цену, как клад зарытый в землю. Но почему в этом рассказе я так охотно медлю? Тогда неоднократно я благо дарила святую богиню, что обещала и дала мне такие наслаждения. О, сколько раз в ее венке[60 - С культом Венеры как богини любви и плодородия был связан ряд растений, например, мирт и роза.] я приносила фимиам к ее алтарю и хулила советы кормилицы-старухи! Кроме того, довольная больше всех моих подруг, я высмеивала их любовь, издеваясь над тем, что сердцу моему было всего дороже. И часто сама с собой я говорила: никто так не любит, как я; никто более достойного юноши не любит, никто так радостно плодов любви не собирает, как я их собираю. Скоро весь мир стал мне нипочем, казалось, что головой я достигаю неба, и я считала, что для полного блаженства не хватает лишь одного: открыто объявить причину моей радости, полагая, что всем должно нравиться то, что нравится мне. Но меня удерживала, с одной стороны, стыдливость, с другой – страх, угрожая вечным бесчестием и потерей того, чего впоследствии судьба меня лишила. Итак, по воле любви жила я, не завидуя другим женщинам, радостно любя, в довольстве, не думая, что наслаждение, которому с открытым сердцем предавалась, было корнями дерева грядущих бедствий, которое теперь я с жалостью вижу бесплодным.

Глава вторая

Меж тем как я, дорогие госпожи, проводила дни свои в вышеописанной веселой и радостной жизни, мало о будущем думая, враждебная ко мне судьба втайне готовила свои отравы с непрерывною гневностью меня, не знающую этого, преследуя. Не довольствуясь тем, что из свободной женщины сделала меня любви рабою, видя, сколь сладостно мне это рабство, она, словно жгучей крапивой, стала бичевать мою душу. И когда наступило ожидаемое ею время, приготовила она, как скоро услышите, свои горькие травы, вкусить которые довелось мне против воли, и они веселье в печаль обратили мне, а в горький плач – смех сладкий. Не только вытерпеть все это, но одна мысль, что я должна

рассказать это другим, наполняет меня таким состраданием к самой себе, что я почти лишаюсь чувств, на глаза навертываются слезы, не знаю, как вести свою повесть; однако как могу буду ее продолжать.

Однажды я и он в скучную дождливую пору (когда молчаливая ночь тянется дольше обычного) отдыхали в моей комнате на богатом ложе; утомленная нами Венера почти сдавалась побежденная, а яркий свет, зажженный в одной части комнаты, давал возможность взорам возлюбленного веселиться моей красотой, моим же – его. Но пока во время разговора мои глаза впивали высшую сладость красоты и блеск их был как бы опьянен ею, случилось, что, не знаю каким обманчивым сном побежденные, прервав мою речь, они сомкнулись. Когда этот сон так же сладко прошел, как и пришел, мой слух был поражен грустными стонами моего дорогого возлюбленного; внезапно обеспокоенная за его здоровье, хотела уже я спросить: «что с тобою?», но побежденная новой мыслью, я промолчала и острым взором смотря тайком на него, лежавшего по другую сторону кровати, слушала некоторое время, наострив уши. Но больше ничто не дошло до моего слуха, хотя я видела, что он рыдает и что лицо его и грудь омочены слезами.

О, как выразить состояние моей души, когда я видела его в таком положении, причины же не знала. Тысяча мыслей в один миг пронеслись в моей голове и все свелись к одной, что он любит другую женщину и потому так страдает. С уст моих готов был сорваться вопрос: «что тебя мучит?» – но я удерживалась из боязни, как бы ему не было стыдно, что я видела его слезы; также я остерегалась смотреть на него, чтобы мои теплые слезы, упавши на него, не дали ему понять, что он наблюдаем мною. В нетерпении сколько способов придумывала я, чтобы он не догадался, что я его видела, и ни в чем меня не заподозрил. Наконец побежденная желанием знать причину его рыданий, чтобы он обернулся ко мне, я сделала так, как люди, которые просыпаются от страшного сна, падения, диких зверей или другой какой опасности, прерывая сновидение вместе со сном; я в ужасе закричала, уронив ему на плечи одну из рук своих. Обман очевидно удался, потому что тот, перестав плакать, обернулся быстро ко мне с бесконечною радостью и ласково сказал:

«Душа моя, чего страшишься?»

На это я немедленно отвечала:

«Казалось мне, тебя я потеряла».

Увы! Насколько слова мои, к которым, не знаю какой дух меня побудил, оказались пророчеством и верными предвестниками будущего, как я теперь вижу! Но он ответил:

«Милая, ты лишь мертвым можешь меня потерять».

Непосредственно за этими словами он тяжело вздохнул и не успела я, желая знать причину прежних стонов, спросить его об этом, как слезы хлынули из глаз его ручьем и вновь обильно смочили еще не высохшую грудь; и долго он держал меня в тяжелой скорби, уже плачущую, не будучи в состоянии произнести слова от рыданий, пока смог ответить на мои расспросы. Но освободившись несколько от напора чувств, часто прерываясь рыданиями, так он ответил мне:

«Дорогая госпожа, превыше всего мною любимая, как можешь видеть из ясных доказательств, если мои стоны заслуживают какой-нибудь веры, ты убедишься, что не без горькой некоей причины я так обильно проливаю слезы, как только вспомню о том, что меня мучит в столь радостном свидании с тобою, – подумать только, что не могу, как я хотел бы, удвоиться, чтоб удовлетворить и любви и должной жалости, в одно и то же время здесь оставаясь и идя туда, куда насильно влечет необходимейшая нужда. От этой невозможности сердце мое несчастное в тяжкой пребывает скорби, как у того, кого жалость, с одной стороны, вырывает из твоих объятий, любовь, с другой стороны, с всею силою в них удерживает».

С неиспытанною доселе горечью входили эти слова в мое несчастное сердце, и разум их не вполне еще постигал, однако чем более они доходили до слуха, чуткого к их враждебности, тем скорее в слезы обратившись, они выходили из моих глаз, оставляя в сердце горький осадок. Тогда впервые я узнала скорби в моем счастье, тогда впервые я узнала такие слезы, которых он ни словами, ни утешеньями, хотя в них не было недостатка, сдержать не мог. Проплакав достаточное время, я стала просить яснее пояснить мне, что за жалость вырывает его из моих объятий; тогда он, не переставая плакать, мне сказал:

«Неизбежная смерть, конец наших дней, из всех сыновей теперь одного меня оставила моему отцу, один я из братьев могу быть опорой вдового старца; не имея более надежды иметь детей, не видя меня долгие годы, теперь он призывает меня себе в утешенье. Многие месяцы я придумывал всякие отговорки, чтобы избежать разлуки с тобою, но теперь он не принимает больше

никаких, постоянно заклиная меня приехать к нему моим детством, в лоне его нежно возвращенном, его непрерывною ко мне любовью, моею, что должен я питать к нему, сыновним долгом и другими еще более важными доводами. Кроме того, он заставляет родственников и друзей побуждать меня к тому торжественными мольбами, говоря, что безутешною душа его покинет тело, если он меня не увидит. Увы! как сильны законы природы! Я не мог, не могу сделать, чтобы при всей моей любви к тебе у меня не нашлось места и этой жалости; итак, решив, с твоего согласия, поехать повидаться с отцом и пробить там короткое время ему в утешенье, не знаю, как проживу без тебя, и лишь вспомню об этом, небеспричинно зальюсь слезами».

Тут он умолк.

Если с кем из слушательниц случались такие случаи в горячей любви, те поймут, какова была печаль души моей, безмерно пламенной, его любви уже вкусившей, если же нет, то не понять вам: так скудны все слова и все примеры. Скажу только, что при этих словах душа моя была готова покинуть тело и покинула бы, если бы я не почувствовала себя в объятиях возлюбленного; но долго от ужаса и горькой скорби я слова вымолвить сил не имела. Но чрез некоторое время, как бы привыкнув к доселе неведомой скорби, вернулись мои испуганные силы, глаза застывшие вновь получили слезный ток и язык способность говорить, – и так я обратилась к господину дней моих:

«Последняя надежда дум моих, пусть мои слова найдут силу, войдя в твою душу, изменить новое твое решенье, чтобы, если ты меня так любишь, как говоришь, не расстаться вам обоим с печальною жизнью раньше срока. Ты колеблешься между любовью и жалостью, но если верны прежние твои неоднократные уверения в любви, никакая жалость не должна превозмогать этого чувства и отрывать тебя от меня, пока я жива, и вот почему. Тебе очевидно, что, исполняя свое намерение, ты в большой опасности оставляешь мою жизнь, когда я едва день могу прожить не видя тебя; ты можешь быть уверен, что с тобою вместе покинет меня всякая радость. И этого было бы достаточно, но кто будет сомневаться, что всякая неожиданная печаль меня, вероятно или даже наверное, убьет? Сегодня ты должен был понять, каких усилий стоит молодым и нежным женщинам спокойно вынести такие несчастья. Ты, может быть, скажешь, что прежде, любя так сильно, я выносила большие; отчасти я согласна, но тогда были совсем другие причины, надежда и желанье делали мне легким то, что теперь будет непереносным. Когда желание меня томило выше меры, кто отрицал бы, что и ты, влюбленный как и я, испытываешь то же? Никто, конечно;

когда ж ты будешь разлучен со мною, сознания этого не будет. Кроме того, тогда тебя я знала только с виду, хотя и уважала, теперь же вижу и знаю на деле, что ты дороже мне, чем я могла воображать, и сделался настолько моим, насколько может возлюбленный своей быть даме. И вне сомненья, что горестнее нам терять то, что имеем, чем то, что лишь надеемся иметь, хотя бы надежда и готова была осуществиться. Итак, приняв все это во внимание, я ясно вижу неизбежность моей смерти. Что ж, предпочтя жалость к старому отцу законной жалости ко мне, ты будешь причиной моей смерти? Ты не возлюбленным, а врагом окажешься, если так поступишь. Ты захочешь (и сможешь, так как я согласна) предпочесть недолгие уже годы отца сохранить, а не мои, кому разумно долгий век еще предположить? Увы, несправедлива будет эта жалость! И ты думаешь, Панфило, что кто-нибудь, связанный с тобою родством, кровью или дружбой, любит тебя, как я тебя люблю? Считаешь плохо, если так считаешь; по правде, никто тебя, как я, не любит. Если же я люблю тебя больше других, то больше заслуживаю и жалости, справедливо и достойно будет, если ты, сжалившись надо мною, всякую другую жалость, противоречащую этой, отбросишь, а отца оставишь одного на покое, как прежде долго жил он без тебя, так и теперь пускай живет или умирает. Уж много лет, если я не ошибаюсь, он избегал смерти и зажил на свете; и если тягостно живет, как старики, то большею жалостью с твоей стороны будет оставить его умереть, чем своим присутствием поддерживать тягостную жизнь.

Но мне, которая без тебя не жидает и не проживет без тебя, – мне надобно помочь; я еще так молода и ожидаю долгих и веселых лет с тобою вместе. Да, если бы твой приход помог отцу, как помогли Ясону Медеины снадобья[61 - Медея обладала способностью возвращать молодость и оживлять мертвых; Ср, например, Овидий, «Метаморфозы», VII, 152 сл.], тогда, конечно, твой поступок был бы справедлив и я сама тебя послала бы, как бы это ни было мне тяжело, но знаешь сам, что это не так и не может быть так. Но вот ты оказываешься более жестоким, нежели я думала; если меня, которую ты полюбил и любишь по вольному выбору, ты так мало ценишь, что моей любви хочешь предпочесть напрасную жалость к старику, с которым ничего особенного нет, то пожалей хоть себя, если не его и не меня; ведь ты, пробывши час без меня, ни жив, ни мертв (если твое лицо и слова меня не обманывают), здесь же столь долгое время, которого потребует нехстати пришедшая жалость, ты думаешь прожить, не видя меня? Боже мой! рассуди хорошенько: ведь ты можешь умереть от этого пути (если правда, как я слышала, что долгая скорбь убивает людей), а видно по твоим слезам, по биению твоего сердца, которое беспорядочно стучится в твоей стесненной груди, что этот путь будет очень тяжел для тебя; если же смерть тебя не постигнет, то жизни худшей, нежели смерть, не избежишь. Увы, как

томится влюбленное мое сердце состраданием к себе самой и к тебе! И я прошу тебя, не будь так безрассуден, чтобы из жалости к кому бы то ни было подвергать себя самой большой опасности! Подумай, ведь кто себя не любит, ничего в мире не имеет. Разве твой отец, к которому ты нынче так жалостлив, дал тебя миру, раз ты сам можешь уйти из него? Без сомнения, если бы ему можно было открыть наше положение, он сам бы, будучи мудрым, посоветовал бы тебе остаться. И если бы рассудительность его к этому не побудила бы, побудила бы жалость; я думаю, что тебе самому это очевидно. Представь, что это решение, которое он посоветовал бы, зная дело, он уже сделал, – по его совету и оставь это путешествие, столь гибельное для нас обоих.

Дорогой господин мой, конечно, я привела достаточно убедительные доводы, чтобы послушаться их и остаться, принимая в соображение, куда ты едешь; положим, ты едешь на родину, для каждого естественно дорогую, но, судя по твоим словам, она тебе опостылела. Ведь, как ты сам говорил, твой город исполнен хвастливых речей и малодушных поступков, подчиняется не закону, а произволу людей, всегда раздираем внешними и междоусобными войнами, населен гордыми, скупыми и завистливыми людьми и полон бесчисленных забот[62 - Намек на ожесточенную политическую борьбу, раздиравшую родину Боккаччо Флоренцию в 30-е и 40-е годы, XIV в., в том числе на грандиозную по тем временам забастовку наемных рабочих – чесальщиков шерсти (т. н. чомпи) в 1335 г.]; все это отнюдь не подходит к состоянию твоей души. Город же, который ты собираешься покинуть[63 - Т. е. Неаполь.], тебе представляется веселым, мирным, обильным, щедрым и подчинен одному королю[64 - Т. е. Роберту Анжуйскому (1275–1343), королю Неаполя с 1309 г. По свидетельству современников, он отличался высокой образованностью и культурой.]; если я тебя хоть немного знаю, тебе это должно было бы быть приятно; кроме же всех перечисленных вещей, тут нахожусь я, которой ты не найдешь в другом месте. Итак, брось мучительное намерение и, переменяя план, позаботься о твоей и моей жизни, оставшись здесь, прошу тебя».

Мои слова увеличили его слезы, которые я пила, смешанные с поцелуями. Но он, после многих вздохов, так мне ответил:

«Сокровище души моей, я вижу, что ты безусловно права, и мне очевидны все опасности; чтобы ответить кратко, не как я хотел бы, а как заставляет меня нужда, скажу, что, мне кажется, ты должна позволить мне иметь возможность краткою скорбью расплатиться с давним и большим долгом. Ты должна быть уверена, что меня побуждает не только законная жалость к старому отцу, но

еще больше жалость к нам самим, которая, если бы позволено было открыться и предположить, что твой совет оставить отца умирать одного, мог быть услышан кроме отца еще кем-нибудь, – меня бы оправдала: но так как эта жалость должна быть тайной и не обнаруживаться, я не вижу, как я могу поступить иначе без того, чтобы навлечь на себя жестокие упреки и бесчестье. Чтобы избежать этих упреков исполнением долга, я буду лишен счастья три или четыре месяца, по истечении которых, или даже раньше, я безусловно вернусь к тебе, к нашей обоюдной радости. А что то место, куда я еду, так неприятно (по сравнению с этим, где ты находишься), так это должно тебя радовать, убеждая, что не какая-нибудь другая причина меня увлекает отсюда и что в силу неблагоприятности места я вернусь оттуда сюда. Итак, позволь мне уехать, и как прежде всего ты заботилась о моей чести и пользе, так и теперь будь терпелива, чтобы я, зная, насколько тебе тяжел этот случай, был более уверен на будущее, что всегда моя честь тебе так же дорога, как моя жизнь».

Он сказал и замолчал, тогда я начала так говорить:

«Ясно вижу, что ты решил в непреклонной своей душе! Мне кажется, что ты почти совсем не думаешь, в жертву каких забот предаешь ты меня, уезжая; ни дня, ни ночи, ни часа не пробуду я без страха, всегда буду в трепете за твою жизнь, о которой молю бога, чтоб он продлил ее на счет моих дней, поскольку ты захочешь. Но зачем напрасно я буду все перечислять! Не столько песка в море, не столько в небе звезд, сколько опасностей и несчастий грозят смертным, и когда ты уедешь, без сомнения, все они будут представляться мне. Увы! Печальное житье! Мне стыдно сказать, что мне приходит в голову, но так как, по рассказам, это возможно, скажу все-таки. Если на родине, где, по слухам, есть много прекрасных женщин, очень способных любить и быть любимыми, ты встретишь кого-нибудь, кто тебе понравится, и меня для нее позабудешь, что за жизнь моя будет? Если ты меня так любишь, как говоришь, подумай, что бы ты сделал, когда бы я тебя променяла на другого? Этого никогда не будет, лучше руки на себя наложу, чем допустить это.

Перестанем говорить об этом и не будем искушать неба, чтоб не накликать, чего не желаем. Раз ты так твердо решил ехать, мне нужно подчиниться необходимости, так как мне все нравится, что тебе нравится. Однако, если возможно, исполни мое желание, отложи немного свой отъезд, чтобы за это время, постоянно думая и воображая разлуку, я приготовилась, как перенести жизнь без тебя. Это тебя не очень стеснит, тем более, что погода, которая все портится, со мною заодно. Разве ты не видишь, что все небо заволочлось тучами,

того и гляди пойдет дождь, снег, подымет ветер и ударит гром[65 - В «Героидах» Овидия (VII, 37-38) Дидона выдвигает перед Энеем приблизительно те же причины, желая отсрочить его отъезд: // Что ты спешишь? На дворе ураган! Пусть хоть он мне поможет! // Слышишь, как буре в ответ вал разъяренный ревет?]. И ты знаешь, что теперь от непрерывных ливней все ручьи разлились в широкие реки. Кто же сам себе враг, чтобы отправляться в путь по такой погоде? В данном случае, если ты не хочешь исполнить моего желания, так исполни свой долг. Подожди, когда дожди пройдут и установится погода, тогда лучше и безопаснее ты отправишься, а я, привыкши уже к печальным мыслям, более терпеливо буду ждать твоего возвращения».

На это он мне проворно ответил:

«Дорогая моя, тягостные муки и разные заботы, в которых я тебя, наперекор желанью, оставляю, и которые, несомненно, уношу также с собою, смягчаются веселой надеждой на возвращенье; не надо думать о том, что и здесь, как в другом месте, может меня постигнуть (т. е. о смерти), ни о предстоящих случаях, которые могут как повредить, так и принести пользу. Где бы ни нашли человека гнев или милость божья, там и надлежит неизбежно испытывать благополучие и несчастье. Итак, предоставь все это покорно рукам божьим, который лучше нас знает, что нам нужно, и только моли его, чтобы все обратилось в благо. Любовь такую цепью приковала мое сердце к твоему владычеству, что едва ли, даже если б я захотел, когда-нибудь я люблю другую женщину, кроме Фьямметты. В этом будь уверена, что скорее на земле засияют звезды, а небо, вспаханное быками, произрастит спелую пшеницу, чем Панфило полюбит другую женщину. Охотнее, чем ты просишь, я отсрочил бы свой отъезд, если бы считал это полезным для нас обоих, но чем дольше его откладывать, тем нам все; будет больнее. Если я уеду сейчас, я вернусь раньше того срока, что ты назначила для приготовления к разлуке, и вместо того чтобы тосковать, думая о предстоящем отъезде, ты будешь горевать в моем отсутствии. Что же касается дурной погоды, то как прошлые разы, прибегну я к спасительному средству, которое с помощью божьей будет действовать даже и на обратном пути. Итак, лучше решись с добрым сердцем сразу подвергнуться тому, что неизбежно, чем ждать в печали и трепете».

Мои слезы, приостановившиеся было во время моей речи, при этом ответе, совсем не таком, какого я ожидала, полились с удвоенною силою; положив отяжелевшую голову ему на грудь, я долго молчала, не зная, согласиться ли с ним или противоречить. Но увы! Кто бы на эти слова не ответил: «Делай как

хочешь; возвращайся скорее!» – Никто, конечно; я так и ответила с большою грустью и со слезами, прибавив только, что будет большим чудом, если по возвращении он найдет меня в живых.

После этого разговора, утешая друг друга, мы отерли слезы и в эту ночь больше не плакали. По обыкновению до своего отъезда, который был через несколько дней, он часто виделся со мною, хотя не мог не заметить перемены в моих привычках и желаниях. Последнюю же ночь моего счастья мы провели не без слез в различных беседах, и хотя по времени года она была одной из самых длинных, мне показалась она кратчайшей. И день, враждебный любовникам, начал уже тушить звезды, когда, услышав приближение утра, я крепко обняла друга, сказав:

«О нежный господин мой, кто тебя от меня отнимает? Какой бог с такою силою свой гнев направил на меня, что при моей жизни скажут: «Панфило нет там, где его Фьямметта!» Увы! Если б я знала, куда уходишь! Когда теперь доведется мне обнять тебя! Боюсь, что никогда».

Я не знаю, что говорила, сердцем чуя недоброе и горько плача, утешаемая им, его целовала. Крепко обнимаясь, мы медлили вставать, пока не поднял нас, торопя, утренний свет. Когда же он готовился поцеловать меня в последний раз, заговорила я со слезами:

«Вот ты уходишь, господин мой, и обещаешь скоро быть обратно; если тебе нетрудно, поклянись мне в этом (не думай, чтоб я не верила твоим словам), чтобы я могла черпать силы в надежде на будущую верность».

Тогда он, склонившись на мою шею, как бы в изнеможении, мешая свои слезы с моими, слабым голосом молвил:

«Госпожа, я клянусь тебе лучезарным Аполлоном, который теперь, быстро подымаясь против нашего желанья, побуждает к скорому отъезду и чьих лучей я жду как вожатых, и нерасторжимой любовью нашей, и жалостью, что разлучает нас, клянусь; не окончится четвертый месяц, как (с соизволенья неба) ты увидишь меня вернувшимся!»

Засим взял меня за руку правою рукою, обернулся к тому месту, где виделись священные изображения наших богов, и сказал:

«Святейшие боги, владыки неба и земли, будьте свидетелями этого обещания и клятвы, что я даю своей десницею; а ты, Амур, будь соучастником; а ты, прекраснейшая горница, что мне желанней, чем небеса богам, была ты тайною свидетельницей наших желаний, сохрани же и эти слова; если я по своей вине их не сдержу, пусть боги на меня разгневаются, как в старину Церера на Эрисихтона

, Диана на Актеона[66 - Юноша Актеон подсмотрел за купающейся Дианой, за что разгневанная богиня превратила его в оленя, и Актеон был растерзан собаками.] и Юнона на Семелу».[67 - См. прим. 56. Боккаччо описал историю Семелы в своем «Любовном видении» (XVIII).]

Сказав это, он обнял меня от всей души и стал прощаться прерывистым голосом. При этих словах, залившись горькими слезами, я не могла вымолвить ни слова, пока наконец, поборов себя, не произнесла печальными устами следующего:

«Пусть клятву, что мои уши слышали и что моя десница от твоей получила, так в небесах Юпитер запечатлеет, как Изида

мольбы Телетусы, а на земле пускай она вполне исполнится, как ты хочешь и как я желаю».

Провожая его до дверей своего дворца, хотела сказать «прости», – вдруг языка лишилась и свет в глазах померк. И как надломленная роза в открытом поле среди зеленых трав, почуя солнечные лучи, никнет, теряя цвет[68 - Сравнение навеяно чтением Вергилия («Энеида», IX, 435–137): // Так пурпурный цветок, сохою надрезанный, блекнет // И умирает, иль мак со стебля усталого клонит // Низко головку свою, дождевой отягченную влагой.], так я, полуживая, упала на руки моей служанки[69 - Описание расставания Фьямметты с Панфило напоминает сцену прощания Овидия с женой перед отъездом поэта в ссылку («Печальные элегии», I, III, 91–92).] и долго пребывала так, пока вернейшая прислужница холодной влагой меня не возвратила к печальной жизни; думая, что он все еще у дверей, как бешеный бык, получив смертельный удар, в ярости прыжками подымается[70 - Это сравнение заимствовано у Вергилия («Энеида», II, 223–224): // Рев такой издает, когда, раненый, бык убегает // От алтаря... // Возможно здесь и воздействие Данте («Ад», XII, 22–24): // Как бык, секирой насмерть поражен, // Рвет свой аркан, но к бегу неспособен // И только скачет,

болью оглушен.], так поднялась я ошеломленная, почти не видя, побежала, раскрыв объятия, и заключила в них свою служанку, думая, что это мой господин, и хриплым голосом, в конец рыданьями разбитым, сказала:

«Прощай, душа моя!»

Служанка промолчала, видя мою ошибку, я же очнувшись и увидев, что я обозналась, едва сдержалась, чтобы снова не лишиться чувств.

Уже совсем был белый день, когда, увидя себя в горнице без своего Панфило, обвела я глазами стены и, долго помолчав, спросила, будто сама не Зная, у служанки, что с ним случилось. Плача та отвечала:

«Уж много времени прошло, как он сюда принес вас на руках и днем был принужден, заливаясь слезами, расстаться с вами».

Я ей сказала:

«Значит, он уехал?»

«Да», – ответила служанка.

Тогда я спросила дальше:

«С каким же видом он уехал? С мрачным?»

«С печальным, – ответила она, – я никогда не видела никого грустнее».

«Что он делал, что говорил, когда уезжал?»

Она ответила:

«Вы как мертвая остались на моих руках, душа ваша блуждала неведомо где; когда он увидел вас в таком положении, нежно взял к себе на руки, ища рукою, не покинула ли вас боязливая душа, но услыша, что ваше сердце сильно бьется, заплакал и сотню раз призывал вас к последним поцелуям. Но видя вас

недвижною как мрамор, принес вас сюда и, опасаясь худшего, со слезами целовал ваше лицо и говорил: «Высшие боги, если в моем отъезде есть какая-нибудь вина, пусть кара падет на меня, а не на невинную женщину; верните ее блуждающую душу, чтоб мы были утешены последним утешением увидеться перед разлукой и поцеловаться на прощанье». Но видя, что вы не приходите в чувство, растерявшись, не зная, что сделать, потихоньку полежил вас на постель, и как морские волны, гонимые ветром и дождем, те набегают, то отступают, так он отходил от вас, медлил на пороге[71 - Ср. у Овидия («Печальные элегии», I, III, 55–56): // Трижды ступал на порог, был трижды оторван, и шаг мой // Вдруг замедлялся: душа мне не давала уйти.], смотрел в окно на небо, неблагоприятное его пребыванию, потом снова возвращался к вам, снова звал вас, проливал слезы и целовал ваше лицо. И повторялось это несколько раз; наконец, видя, что дольше не может оставаться, обнял вас со словами: «Нежнейшая госпожа, единственная надежда печального сердца, которую я против воли оставляю лишенною чувства, пусть бог тебя укрепит и сохранит, чтобы счастливые еще мы свиделись, а не разделились горькой разлукой неутешные!» При этих словах он так горько плакал, что иногда я боялась, как бы его рыданий не услышал кто-нибудь из домашних или соседей. Но видя, что яркое утро не дает ему возможности оставаться дольше, заливаясь слезами, он простился и, будто изнемогая, запнулся о порог[72 - Ср. у Тибулла («Элегии», I, III, 19–20): // Ах, сколько раз, отправившись в путь, начинал вспоминать я, // Как оступился в дверях – знак неминуемых бед! // (Пер. Льва Остроумова)] и вышел из вашего дома. Выйдя на улицу, он будто совсем не мог идти, так оборачивался на каждом шагу, словно надеясь, что вы пришли в себя и я его верну». Тут она умолкла; я же, о женщины, можете представить в какой скорби об уехавшем любезном безутешно осталась плакать.

Глава третья

В таком состоянии, как я описала, женщины, я осталась после отъезда моего Панфило и много дней в слезах горевала о его отсутствии, все время мысленно говоря: «О Панфило мой, как могло случиться, что ты меня покинул?» И вспоминая это имя, я несколько утешалась. Я обводила глазами, полными желанья, свою комнату, говоря себе: «Здесь Панфило мой сидел, там лежал, здесь обещал мне вернуться скоро, там я его поцеловала», – и всякий уголок был

мил мне. Иногда я воображала, что он вернулся и придет ко мне, и как будто он в самом деле пришел, обращала взоры свои к двери; и одураченная собственной выдумкой, так страдала, будто в самом деле была обманута. Часто, чтобы не предаваться бесполезным мечтаньям, я хотела приняться за какое-нибудь дело, но под властью новой фантазии бросала его, и несчастное сердце непрерывно меня мучило необычным биением. Я вспоминала многое, что я хотела бы ему сказать и что сказала, его слова про себя повторяла, и так, равнодушная ко всему, многие дни провела я в печали.

Но когда острая боль первых минут после разлуки под влиянием времени несколько смягчилась, ко мне стали приходиться более крепкие мысли и защищать себя правдоподобными доводами. Через несколько дней, находясь в своей комнате, я так рассуждала сама с собою: «Вот теперь твой милый уехал и едет, а ты, несчастная, не могла ни проститься с ним, ни ответить на поцелуй» [73 - Подобные мысли приходят в голову и покинутой Ахиллом Брисеиде. Ср. Овидий, «Героиды», III, 14: // Даже лобзаньем меня ты проводить не успел!], данные твоему помертвелому лицу, ни видеть его отъезда: может быть, он помнит это и, если случится с ним какое-нибудь затруднительное положение, приняв твою молчаливость за дурное предзнаменование, может упрекнуть себя за тебя». Эта мысль меня сначала очень огорчила, но потом ее вытеснило другое соображение, а именно: «За это нечего упрекать, потому что, если он не глуп, то случай со мною скорей сочтет за счастливое предзнаменование, говоря: «Она не простилась, как прощаются с уезжающими надолго или навсегда, но молча, как бы считая меня около себя, она указала на кратковременность нашей разлуки». И так утешая сама себя, я предавалась новым и новым мыслям. [74 - В ряде старых изданий книги Боккаччо после этих слов печаталась следующая фраза: «Печальная пребывала я, вся погруженная в мысли о нем, поворачиваясь то сюда, то туда в моей комнате, иногда же заложив руки за голову и опершись о кровать думала: «Теперь мой Панфило приехал туда!» и так стояла». Анализ рукописной традиции не подтверждает принадлежность Боккаччо этой фразы.]

Иногда я начинала беспокоиться, что он запнулся о порог уходя, как рассказывала мне верная служанка, и приходило мне на память, что не по иному какому признаку была у Лаодамии уверенность, что не вернется Протесилай [75 - Ср. у Овидия жалобы Лаодамии, проводившей на Троянскую войну своего мужа Протесилая, царя одного из фессалийских племен, первым из греков павшего от руки троянцев («Героиды», XIII, 85-90). Миф о Лаодамии и Протесилае упоминается Боккаччо также в «Любовном видении» (XXVII, 52-78).], и много раз я об этом плакала, думая, что это предвещает то, что случилось. Но не понимая еще, что грядущее мне готовит, я думала, что мысли эти, как пустые, нужно

гнать прочь. Но они не уходили по моему желанию, а иногда уступали место другим, столь многочисленным и разнообразным, что даже количество их вспомнить я затруднилась бы.

И всякий раз, как я вспоминала, что он в дороге, мне приходили на ум стихи Овидия, прежде читанные, что труд и усталость у молодых прогоняют любовь из головы[76 - Ср. Овидий, «Средства от любви», 150 сл.]. А зная, что это – немалая докуча тем особенно, кто делает против воли и привык к покою, я опасалась, во-первых, как бы он меня не забыл, а потом, как бы не захворал или не случилось с ним чего-нибудь еще худшего от непривычного утомления и дурной погоды. Помню, что этим я больше всего была озабочена, хотя, принимая во внимание, как он плакал, что я видела собственными глазами, и что я не теряю верности от утомления, предполагала, что невозможно такому незначительному горю угасить столь сильную любовь, и надеялась, что его молодость и осторожность в опасных случаях оставят его в целости.

Так сама с собою сомневалась, вопрошала, отвечала и провела в этом столько дней, что не только считала его приехавшим на родину, но даже была извещена об этом его письмом. По многим причинам было приятно мне это письмо, открыто выражавшее весь его пыл и клятвенными обещаньями оживившее мои надежды на его возвращение.

С этих пор, оставивши прежние думы, внезапно предалась я новым мыслям, родившимся вместо тех. Иногда я размышляла: «Теперь Панфило, как единственный сын старого отца, который его много лет не видел, принимается с большим ликованьем, я не думаю, что он не вспоминает обо мне, но боюсь, что проклинает те месяцы, что он по разным причинам промедлил из-за любви ко мне, и, чувствуемый то тем другом, то другим, может быть, порицает меня, которая только и умела, что любить, пока он был здесь; а сердце, преданное празднествам, готово забыть одно место и привязаться к другому. Увы, возможно ли, чтобы я его потеряла таким образом? Едва ли вероятно. Боже, не допусти, и как я принадлежала и принадлежу ему среди своих родственников и в своем городе, так и его сохрани моим на его родине среди своих». Увы, с какими слезами смешивались эти слова, но с еще большими были бы смешаны, если б я верила тому, что они как бы предвидели, так как те, что тогда я не доплакала, впоследствии вдвойне, но втуне пролила.

Помимо этих размышлений сама душа моя, вещунья грядущих зол, часто охваченная неведомым страхом, трепетала, и этот страх иногда выражался в

таких соображениях: «Теперь Панфило на своей родине посещает великолепные храмы, которых там так много, торжественные богослужения и, без всякого сомнения, видит там множество женщин, они же (как я неоднократно слышала) не только славятся красотой, но и веселостью, прелестью и умением как никто завлекать в свои сети. А кто так бдительно себя устережет, чтобы при таком стечении обстоятельств, положим, против воли, насильно не был бы увлечен? Я сама влюбилась против воли, к тому же новое всегда приятно[77 - Ср. Овидий, «Наука любви», I, 347; III, 585–586; «Любовные элегии», II, XIX. 3 и 25.]. Поэтому легко может случиться, что он им, а те ему понравятся как новинка». О, как было тяжело мне представить это! Насилу могла я прогнать мысль о том, чего с ним не должно было случиться, так рассуждая: «Как же может Панфило, любящий тебя больше самого себя, полюбить кого-нибудь сердцем, которое занято тобою? Разве ты не знаешь, что здесь была одна, вполне достойная его, которая усиленно, не только взглядами, хотела проникнуть в его сердце и не могла? Едва ли вероятно, чтобы он так скоро, как ты говоришь, влюбился, даже не будучи твоим, которой он уже столько времени принадлежит, и предположив, что те женщины по красоте и искусству равняются богиням. К тому же неужели ты веришь, чтобы он для какой-нибудь другой нарушил клятвы, данные тебе? он этого никогда бы не сделал, и ты должна иметь доверие к его скромности. Ты рассудительно должна подумать, что не настолько он неразумен, чтобы не знать, что глупо бросать, что имеешь, чтобы приобретать то, чего не имеешь, если только не бросаешь ничтожнейшей вещи, чтобы приобрести очень значительную; итак, имей неложную надежду, что всего этого не может быть. Кроме того, если тебе говорили правду, то в его городе нет ни одной такой богатой и привлекательной женщины, как ты; к тому же, кого он найдет, которая так же сильно, как ты, его любила бы? Если он человек опытный, то знает, как трудно склонить женщину к новой любви; даже если они любят, что редко случается, то всегда показывают вид противоположный их желанию. Даже если б он тебя не любил, то, занятый своими делами, не нашел бы времени ухаживать за новыми женщинами; а потому не думай об этом, а считай установленным, что насколько ты любишь, настолько ты любима».

О, как ошибочно я рассуждала, софистику противопоставляя истине! Но всеми своими рассуждениями я не могла искоренить из сердца ревности, присоединившейся ко всем моим горестям. Но будто действительно придя к выводу, несколько облегченная, я добровольно удалялась от этих мыслей.

Дорогие госпожи, чтоб мне не тратить времени на перечисление каждой моей мысли, послушайте внимательней, что я сделала, хотя я продолжаю свой рассказ не для того, чтобы вы удивлялись моим поступкам, хотя бы они и были

странны, ибо я действовала не по своему желанию, а по внушению любви. Редкое утро проходило без того, чтобы я, вставши, не поднималась на вышку дома и оттуда, вроде моряков, которые с корабельного марса смотрят, не мешает ли им близкий берег или скалы, не смотрела на весь небосвод, потом, остановив свой взор на востоке, наблюдала, сколько вставшее над горизонтом солнце протекло из нового дня; и чем более высоко поднявшимся я его видела, тем ближайшим считала срок возвращения Панфило. И много раз так созерцала его, почти не видя, в упоенье смотря его пройденный путь то по уменьшению моей тени, то по увеличению расстояния между землей и солнцем, и говорила про себя, что ленится оно в течении и больше дней представляет Козерогу, чем Раку их дается обыкновенно[78 - Т. е. зима тянется слишком долго (Козерог - знак декабря, Рак - знак июня).]; когда оно всходило на зенит, я упрекала, что слишком долго оно любит землю, и даже когда оно стремительно клонилось к закату, мне казалось, что оно медлит. И когда оно, скрыв свет свой от земли, светить пускало звезды, я радовалась и, считая дни и этот наравне с другими протекшими, отмечала маленьким камешком, как древние, что знаменовали счастливые и несчастные дни белыми и черными камнями. Вспоминаю, что часто я раньше времени отмечала, думая, что чем больше камешков будет в прошедших днях, тем скорее пройдет время, и хотя отлично наизусть знала число их, однако все пересчитывала то прошедших, то оставшихся дней отметки, будто надеясь, что первые будут увеличиваться, а вторые уменьшаться. Так желание меня переносило к концу срока.

Сделав эти тщетные работы, чаще всего возвращалась я в свою комнату, где больше любила оставаться одной, нежели в обществе. Чтобы бежать тягостных мыслей, когда я оставалась наедине, открывала я один сундук, из которого вынимала по очереди разные вещи, принадлежавшие Панфило, смотрела на них, будто на него самого, любовалась, едва сдерживая слезы, вздыхая и целуя, и спрашивала их, будто разумные существа: «Когда-то будет здесь господин ваш?» Тут, оставя их, я вынимала бесконечные письма его ко мне и, почти все перечитывая, будто беседуя с ним, немного утешалась; часто звала служанку и разговаривала с нею о нем, спрашивая ее мнение, когда вернется Панфило или что она о нем думает и не слыхала ли чего. На что она, или чтоб угодить мне или действительно так думая, говорила утешительные речи; иногда так без скуки полдня и проходило.

Кроме этих утешений, жалостливые дамы, любила я еще посещать храмы или сидеть у дверей, хотя иногда разговоры и заставляли меня снова беспокоиться; часто находясь в этих местах, я видела молодых людей, с которыми я неоднократно видела Панфило; я всегда вглядывалась в них, будто ища среди

них Панфило. Часто я ошибалась, но, несмотря на ошибки, мне было отрадно их видеть, ибо казалось (если их вид не лгал), что они сочувствуют моим страданиям и сами будто не так веселы, как обыкновенно, покинутые своим товарищем. Если бы соображение не удерживало меня, так бы и спросила у них, не знают ли они чего о своем друге. Один раз судьба была ко мне благосклонна; не предполагая, что мне слышен их разговор, они как-то рассуждали о нем и говорили, что он скоро вернется. Напрасно я трудилась бы выразить, как это меня обрадовало. Таким-то и подобным образом проводила я дни, тяжкие для меня несмотря на свою краткость, ожидая ночи, не потому, чтобы я считала ее более легкой, но чтобы с ее наступлением скорей проходило время.

Но когда день, окончивши свои часы, сменялся ночью, новые заботы мною овладевали. С детства я боялась темноты, но любовь меня приучила быть храброй; и вот услышав, что в доме спят, одна взбиралась я не раз туда, откуда утром смотрела на солнечный восход, и как Арунс

; что среди белых мраморов Луканских гор[79 - Небольшая возвышенность в Средней Италии, в Тоскане, около города Лукка. Но это ошибка Боккаччо: легендарный прорицатель Арунс смотрел с горных вершин у города Луни (см. в «Дополнениях» прим. Боккаччо).] следил небесные светила и их ход, зная, что заботы не дадут мне уснуть, смотрела я на небо, и быстрый бег луны казался мне медлительным. Не раз вперив внимательные взоры в рогатую луну, я думала, что она стремится не к полноте, но все острее с каждой ночью. И тем пламеннее было мое желание, чем скорее увидеть я хотела пройденными четыре фазы быстрым бегом[80 - Ср. Овидий, «Героиды», II, 3-6: // В день, когда, лик округляя, рога свои сдвинет Селена, // У берегов обещал якорь ты бросить моих. // Вот уж четырежды умер, четырежды вновь возродился. // Месяц...]. О сколько раз подолгу любовалась я холодным светом, воображая, что, может быть, глаза Панфило в это время, как и мои, прикованы к луне. Теперь я не сомневаюсь, что я была безумна, и он не думал даже смотреть на луну, а преспокойно спал в постели. И помню, что, мучимая медлительностью луны, я, согласно древним суевериям, хотела музыкой помочь ей достигнуть полнолуния: когда же она достигала полноты, как бы довольная своим сиянием, казалось мне, что медлит она и не заботится опять к рогам вернуться, хотя в душе подчас я ее оправдывала, понимая, что ей милее оставаться с матерью, чем возвращаться в темные владенья супруга[81 - В античную эпоху Луну иногда отождествляли с Просерпиной, дочерью Цереры и женой Плутона.]. Но хорошо помню, что часто, привыкши обращаться к ней с молитвою, вдруг начинала ей угрожать, говоря:

«О Фебея[82 - Т. е. сестра Феба.], скупая наградительница полученных услуг! моими жаркими молитвами старалась я уменьшить твои мученья, тебе же все равно, что медленной ленью мои ты увеличиваешь, и вот, рогатая, когда опять за помощью ко мне придешь, я тоже буду лениться, как ты теперь. Разве ты не знаешь, что чем скорее и трижды себя покажешь рогатой и столько же раз круглой, тем скорее ко мне Панфило мой возвратится? Вернется он, тогда как хочешь бегай по своим кругам, быстро или медленно».

Конечно, то же безумье, что мне подсказывало эти молитвы, заставляло меня видеть то, будто она, испугавшись моих угроз, по моему желанью быстрее катилась, то, будто пренебрегая мною, тащилась медленнее, чем всегда. Это частое созерцанье сделало меня такой осведомленной в изменениях луны, что будь она видима вся или частью, или соединена с какой-нибудь звездой, – я определенно могла сказать, какая часть ночи прошла; также, если луна еще не взошла, могла я узнавать по Большой и Малой Медведице. Кто бы поверил, что любовь может научить астрологии, науке, свойственной тончайшему уму, а не обуреваемому страстью сердцу? Когда тучи и бури скрывали небо совершенно от глаз, я собирала в свою комнату служанок (если не была занята чем-нибудь другим), рассказывала сама и заставляла рассказывать разные истории, которые чем были неправдоподобнее, как имеют обычай рассказывать эти люди, тем более, казалось, были способны разогнать мою тоску и развеселить меня, так что я при всей своей меланхолии весело смеялась. Если по каким-нибудь законным причинам этого нельзя было, то я разыскивала в разных книгах жалостные истории и, приурочивая их к себе, чувствовала себя менее одинокой и проводила время не так томительно. И не знаю, что было мне отраднее: наблюдать, как идет время, или, будучи занятой другим занятием, увидеть, что оно уже прошло.

Но после того как долгое время занималась я такими и другими занятиями, почти против воли, отлично зная, что это будет тщетно, я шла спать или, вернее, лечь спать. И одна, лежа на кровати в тишине, почти все думая, что За день имела, я вспоминала, повторяя все доводы за и против, хотела думать о другом, но редко это удавалось; все-таки иногда, с усилием отделавшись от них, лежа на том месте, где мой Панфило лежал, и чувствуя будто его запах, была довольна, и про себя его звала; и словно бы он мог меня услышать, просила скорей вернуться.[83 - Так грезил и покинутая Тесеем Ариадна (Овидий, «Героиды», X, 51-54): // Часто я к ложу мечусь, что обоих на ночь приютило, // Но до зари удержать, ах, не обоих могло // Вместо тебя, беглеца, хоть к следам я твоим припадаю, // Глажу постель, что за ночь тело согрело твое.]

Потом, воображая, что он вернулся, представляла его со мною, рассказывала, спрашивала, сама вместо него отвечая; случалось, что так на Этом и засыпала; и сон такой бывал часто мне приятней бдения, потому что, будучи продолжительным, как живое мне представлял, что наяву я лишь воображала. Иногда мне снилось, что он вернулся и я брожу с ним в прекраснейших садах, украшенных деревьями, цветами и разными плодами, брожу как прежде, без страха, рука в руку, и он рассказывает свои приключения, и раньше, чем он кончал говорить, я прерываю речь его поцелуем и говорю, как будто вижу наяву: «Как, в самом деле ты вернулся? Конечно, вот я тебя касаюсь!» – и снова его целую. Другой раз снилось мне, что я с ним на морском берегу в веселый праздник, и я сама себя убеждаю, говоря: «Да, я не сплю, я в самом деле его обнимала». Ах, как было горько, когда сон проходил! Я носила в себе те картины, что без труда во сне мне представлялись, и хотя была в печали, весь следующий день ходила, радуясь в надежде, что скоро ночь вернется и мне вернет во сне то, чего наяву я лишена. И хотя случалось, что сны мне были так приятны, но не дано мне было их видеть без горькой примеси, потому что бывали ночи, когда я видела его в рубище, всего в пятнах, бледного, дрожащего, как изгнанник, кричащего мне: «На помощь!» Иногда мне казалось, что мне говорят о его смерти, и я его видела перед собою мертвым или в другом печальном образе, и никогда сон не мог пребороть моей скорби. Внезапно проснувшись и видя, что это не более как пустой сон, я почти благодарила бога за это сновиденье; но продолжала оставаться смущенной, боясь, что сны мои изображают если не всю действительность, то часть ее. Всегда бывала этим расстроена, хотя слышала от других и сама знала, что все сны – призрачны и лживы; не имея от него сведений, я усердно старалась всеми путями их иметь.

Так проводила, ожидая, я дни и ночи. Когда приблизился срок назначенного возвращения, я решила, что полезней будет веселиться, чтобы красота моя, несколько стертая скорбью, опять вернулась, и, подурневши, я бы не отвратила его от себя при его приезде. Сделать это было тем легче, что привычки к страданиям, я их переносила с меньшею тягостью, а близкая надежда на обещанное возвращенье, наполняла меня все дни непривычною радостью. Прервав немного развлечения вследствие мрачного времени[84 - Т. е. времени зимней непогоды.], с его переменой снова я к ним вернулась, как только замкнутая в тяжелую горечь душа начала предаваться увеселениям, как я снова сделалась прекрасною, как никогда. И как рыцарь к будущей битве готовит нужное ему вооружение, так я улучшала дорогие наряды и драгоценные уборы, чтобы быть блистательнее к его приезду, который я тщетно ждала в обманчивой надежде.

С моими поступками изменились и мои мысли. Больше не приходило мне на ум ни то, что я его с отъезда не видала, ни то, что он запнулся (дурная примета), ни труды, им подъятые, ни скорби, – и еще за восемь дней до назначенного срока я говорила:

«Панфило соскучился по мне в разлуке и видя, что приближается срок, готовится к обратному пути, и, может быть, оставя старого отца, уже находится в дороге». – Как сладко мне было так рассуждать! Как часто непроизвольно обращалась я к этим мыслям, думая, как лучше встретить его. Увы! сколько раз я говорила:

«Когда он вернется, я зацелую его так, что он не сможет сказать ни одного слова, чтобы я не прервала его поцелуем; сторицей выплачу ему те поцелуи, которыми он покрывал мое помертвелое лицо при отъезде».

Боялась только, что если первая встреча будет при посторонних, я не выдержу и брошусь его целовать. Но об этом позаботилось небо самым неприятным для меня образом. Кто бы ни входил в мою комнату, я думала всякий раз, что приходят возвестить мне приезд Панфило. Я прислушивалась ко всем разговорам, думая услышать весть о приезде Панфило. Непрестанно я вскакивала с места и бежала к окну под разными предлогами, на самом деле от неразумной мысли, что, может быть, Панфило уже вернулся и идет ко мне. И потом, видя свою ошибку; возвращалась почти в смущенье. Пользуясь тем, что он должен что-то привезти моему мужу, я часто узнавала и посылала узнавать, не приехал ли он и когда его ждут. Но никакого утешительного ответа я не получала, как будто он никогда и не должен был вернуться, что он и сделал.

Глава четвертая

В таких для меня заботах, жалостливые дамы, не только наступил столь желанный и в тоске ожидаемый срок, но еще многие дни сверх него; и сама еще не зная, порицать ли его или нет, не потеряв окончательно надежды, я умерила радостные мысли, которым, может быть, излишне предавалась, новые мысли забродили у меня в голове, и укрепившись прежде всего в желании узнать

причину, почему он просрочил, я стала придумывать оправдания, какие он сам лично, будучи здесь, мог бы привести. Иногда я говорила: «Фьямметта, зачем ты думаешь, что Панфило твой не возвращается по другой причине, чем простая невозможность? Часто непредвиденные случайности постигают людей, и для будущих поступков нельзя так точно определять срок[85 - Сомнения Фьямметты, переходящей от надежды к отчаянию и от доверия к ревности, повторяют переживания фракийской царевны Филлиды, покинутой Демофонтом. См. Овидий, «Героиды», II.]. Без сомнения, жалость к людям, с которыми мы находимся, сильнее сострадания к отсутствующим; я уверена, что он меня искренне любит и, побуждаемый любовью и жалостью к горькой моей жизни, хотел бы вернуться домой, но, может быть, старик отец слезами и просьбами убедил его остаться дольше, чем тот хотел; когда сможет, он приедет».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Греческие басни (Эзопа), очень популярные в средние века, были известны Боккаччо в широко распространенных в эпоху средневековья латинских переводах и переделках (первыми из них были басни Федра). Во времена Боккаччо жанр басни воспринимался как произведение на моральные темы.

2

Т. е. рассказов о легендарной Троянской войне, описанной Гомером.

3

Намек на высокое происхождение прототипа Фьямметты – Марии д'Аквино, которая, как известно, была побочной дочерью короля Неаполя Роберта Анжуйского.

4

О Кадме, легендарном основателе Фив, ср. у Овидия («Метаморфозы», III, 1 сл.).

5

Лакесис – одна из Мойр, согласно Платону («Государство», кн. X, гл. 14), обладавшая способностью открывать людям прошлое.

6

О похищении Плутоном юной Прозерпины Боккаччо читал, несомненно, у Овидия («Метаморфозы», V, 332 сл.).

7

Это сравнение навеяно чтением Вергилия («Георгики», IV, 457–459): // Ибо, пока от тебя убегала, чтоб кинуться в реку, // Женщина эта, на смерть обреченная, не увидела // В травах огромной, у ног, змеи, охраняющей берег.

8

Ср. у Данте («Рай», III, 122–123): // ...исчезая под напев, // Как тонет груз и словно тает въяве.

9

Атрей был царем Микен. См. в «Дополнениях» примечания Боккаччо.

10

Ср. вещие сны в «Декамероне» (д. IV, нов. 6, д. IX, нов. 7).

11

Страстная суббота. Некоторые ученые (Кошен, Маникарди, Массера) полагают, что эта встреча состоялась 27 марта 1334 г. Но большинство предлагает другую дату: 30 марта 1336. А. Н. Веселовский (Собр. соч., т. V, стр. 113) предлагал свой вариант – 11 апреля 1338, что несомненно слишком поздно и не вяжется с хронологией других произведений Боккаччо.

12

Миф о суде Париса подробно изложен Боккаччо в его «Любовном видении» (песнь XXVII).

13

Встреча Боккаччо с Марией д'Аквино произошла в церкви Сан-Лоренцо в Неаполе.

14

Ср. в «Амето» рассказ Акримонии.

15

Этот поэтический образ – любовь, проникающая в сердце через глаза – был очень распространен в любовной лирике эпохи, прежде всего у Петрарки и особенно – у его последователей.

16

Сходный образ использован Боккаччо в «Филоколо».

17

Партенопея – т. е. Неаполь. По преданию, назван так по имени сирены Партенопы, бросившейся в море и превратившейся в утес после того, как Одиссей со спутниками проехал мимо и не обратил внимание на ее песни.

18

Эта беседа Фьямметты с кормилицей напоминает разговор Федры и ее кормилицы из первого акта одноименной трагедии Сенеки (ст. 131–250).

19

Ср. у Сенеки («Федра», 137–144): // ...из груди непорочной // Скорее изгони огонь греха // И не давай себя ласкать надежде. // Тот, кто любовь в начале подавил, // Воистину бывает победитель. // Но кто питал и возлелеял зло, // Нести ярмо, которому подпал, // Отказывается, но слишком поздно.

20

Ср. у Сенеки («Федра», 194–196): // Я знаю, // Кормилица, ты правду говоришь. // Но страсть меня на худший путь влечет.

21

Третье небо считалось небом Венеры, как третьей по удаленности от Земли планеты (первая и вторая – Луна и Меркурий). Ср. у Данте – «Рай», VIII, 3.

22

Эту трактовку Амура, как «ложного» бога, Боккаччо нашел у Сенеки («Федра», 213–227).

23

Ср. у Сенеки («Федра», 230–232): // Почему // Свята Венера в хижинах убогих // И здравы страсти у люден простых?

24

Ср. у Сенеки («Федра», 234–236): // Богатые, особенно цари, // Стремятся к беззаконному? Кто слишком // Могуч, тот хочет мочь, чего не может.

25

Холодный Арктур – т. е. север; раскаленный полюс – т. е. южные земли.

26

Т. е. в водах, омывающих остров Кипр, где Венера (прозванная Кицридой) родилась из морской пены.

27

Рассказ о победе Феба над чудовищным змеем Пифоном см. у Овидия («Метаморфозы», I, 438–451).

28

О Дафне, первой любви Феба – см. у Овидия («Метаморфозы», I, 452–567).

29

См. у Овидия («Метаморфозы», I, 748–779).

30

Ср. у Овидия («Метаморфозы», IV, 194–197): // Ты, опаляющий всю огнями
небесными землю, // Сам ты пылаешь огнем; ты, все долженствующий видеть, //
На Левкотою глядишь; не на мир, а на девушку только // Взор направляешь
теперь.

31

Об этом рассказано у Овидия («Метаморфозы», II, 680–706).

32

О всех этих превращениях Юпитера рассказывает Арахна в «Метаморфозах» Овидия (VI, 103–114), Ср. также у Сенеки («Федра», 204–205): Крылатый этот бог царит над миром И самого Юпитера палит.

33

Сыном Алкмены был Геракл. Далее Боккаччо перечисляет его подвиги (они описаны в книге IX «Метаморфоз»). См. также примечание Боккаччо.

34

Здесь Боккаччо путает дочь эхалийского царя Иолу, возлюбленную Геракла, и Омфалу, в рабство к которой на три года был отдан Геракл. По ее приказанию он одевался в женскую одежду и выполнял соответствующую работу. Историю любви Геракла и Иолы Боккаччо описал в главе XXVI «Любовного видения».

35

Боккаччо имеет в виду любовь Ахилла к троянской царевне Поликсене, ставшей причиной гибели героя: пришедший к ней на свидание в храм Аполлона Ахилл был убит Парисом. Миф о Поликсене разработан в трагедии Эврипида «Геката».

36

Об Ариадне, покинутой Тесеем, рассказано у Овидия («Метаморфозы», VIII, 174–177 и «Героиды», X) и Катулла (XXIV, 116–201).

37

Любовь Геро и Леандра описана у Овидия («Героиды», XVIII, XIX). Боккаччо упоминает ее в «Любовном видении» (XXIV).

38

Взаимоотношения Дидоны и Энея описаны Вергилием в первой песне «Энеиды» (335–756) и Овидием в «Героидах» (VII). Боккаччо, описывая страдания покинутой Фьямметты, вдохновлялся прежде всего рассказом Овидия.

39

О любовных увлечениях Нептуна рассказано у Овидия («Метаморфозы», VI, 115–120). Боккаччо вспоминает о них в «Любовном видении» (XIX, 79–88).

40

О любви беотийского божества рыбаков и моряков Главка к нимфе Скилле рассказывает Овидий («Метаморфозы», XIII, 900–968).

41

Т. е. до царя преисподней Плутона, влюбившегося в Прозерпину (см. прим.

42

Намек на Федру, воспылавшую любовью к своему пасынку Ипполиту

43

О любви супруги критского царя Миноса Пасифаи к быку рассказывает Овидий «Метаморфозы», VIII, 136 сл.; «Наука любви», I, 285 сл.).

44

Любовь Федры к Ипполиту, помимо ряда драматических произведений (Эврипид, Сенека), нашла отражение в творчестве Овидия («Героиды», IV). Наиболее широко Боккаччо использовал трагедию Сенеки. Боккаччо пересказывает этот миф также в «Любовном видении» (XXII).

45

О Ясоне, полюбившем Медею, а затем Креусу, рассказано в трагедиях Эврипида и Сенеки, а также у Овидия («Метаморфозы», VII, 1-158; «Героиды», VI, XII), Стация («Фиваида», V, 335 сл., VI, 336 сл.) и Данте («Ад», XVIII, 86-96). Боккаччо

возвращается к этому мифу в «Любовном видении» (XXI).

46

Боккаччо имеет в виду любовь Тесея к Федре, заставившую его покинуть Ариадну.

47

В античных источниках об измене Гектора своей жене Андромахе не рассказывается.

48

Имеется в виду любовь Улисса (Одиссея) к волшебнице Цирцее, удерживающая его от возвращения к жене Пенелопе.

49

Рассказ о любви юной Мирры (или Смирны) к своему отцу Киниру содержится у Овидия («Метаморфозы», X, 300–524). Боккаччо вспоминает Мирру в «Любовном видении» (XXII, 43–54).

50

О любви Канаки, дочери бога ветров Эола (поэтому Овидий называет ее Золиной) к своему брату Макарею см.: «Героиды», XI. Ср. также «Любовное видение», XXV, 10–12.

51

Имеется в виду эпизод из мифа об Энее и Дидоне: Амур, чтобы зажечь в Дидоне любовь к Энею, превратился в прекрасного юношу Аскания, сына Энея. См. Вергилий, «Энеида», I, 657–722.

52

Лисса – богиня безумия, упоминаемая в «Неистовом Геркулесе» Сенеки. Но здесь возможно и другое чтение, делающее более понятным данное место текста: быть может речь идет о Люцие, герое «Метаморфоз» Апулея, превращенного в отталкивающего осла.

53

Гета – персонаж одноименной средневековой латинской пьесы, написанной в подражание Плавту французским поэтом второй половины XII в. Виталем де Блуа. Тип распутного раба, характерный для древнеримской комедиографии. Боккаччо упоминает его в «Любовном видении» (XVIII, 77–78), называя его «печальным».

54

Биррия – это тоже комический персонаж из той же пьесы Виталия де Блуа, Боккаччо описывает его в «Любовном видении» (XVIII, 79–84): // Болтливый Биррия здесь тоже появлялся, // Под тяжким грузом книг едва он шел // И без причин обиженным казался; // Вот жалуясь такую речь завел: // «Когда же кончатся, увы, мои мученья, // И этот мерзкий груз я опущу на пол?»

55

Гисифона – одна из трех эриний, богинь мщения в греч. миф.

56

Речь идет об известном эпизоде: ревнивая Юнона (Гера) приняла вид старухи и явилась Семеле, возлюбленной Зевса. Ср. Овидий, «Метаморфозы», III, 259 сл.

57

Описанные Фьямметтой отношения любовников напоминают отношения Париса и Елены в передаче Овидия («Героиды», XVI). Ср. также – Овидий, «Любовные элегии», I, IV.

58

Ср. Овидий, «Любовные элегии», I, IV, 20–28.

59

Ср. Овидий, «Героиды», XVII, 83–84, 151–153: // Часто ты мне подавал потаенные пальцами знаки, // Бровью своей шевелил, словно со мной говоря... // Я не напрасно боюсь: осуждают меня уже люди. // Много обидных речей слышала Этра про нас. // Будь осторожен, мой друг... когда отказаться не хочешь!

60

С культом Венеры как богини любви и плодородия был связан ряд растений, например, мирт и роза.

61

Медея обладала способностью возвращать молодость и оживлять мертвых; Ср, например, Овидий, «Метаморфозы», VII, 152 сл.

62

Намек на ожесточенную политическую борьбу, раздиравшую родину Боккаччо Флоренцию в 30-е и 40-е годы, XIV в., в том числе на грандиозную по тем временам забастовку наемных рабочих – чесальщиков шерсти (т. н. чомпи) в 1335 г.

63

Т. е. Неаполь.

64

Т. е. Роберту Анжуйскому (1275–1343), королю Неаполя с 1309 г. По свидетельству современников, он отличался высокой образованностью и культурой.

65

В «Героидах» Овидия (VII, 37–38) Дидона выдвигает перед Энеем приблизительно те же причины, желая отсрочить его отъезд: // Что ты спешишь? На дворе ураган! Пусть хоть он мне поможет! // Слышишь, как буре в ответ вал разъяренный ревет?

66

Юноша Актеон подсмотрел за купающейся Дианой, за что разгневанная богиня превратила его в оленя, и Актеон был растерзан собаками.

67

См. прим. 56. Боккаччо описал историю Семелы в своем «Любовном видении» (XVIII).

68

Сравнение навеяно чтением Вергилия («Энеида», IX, 435–137): // Так пурпурный цветок, сохою надрезанный, блекнет // И умирает, иль мак со стебля усталого клонит // Низко головку свою, дождевой отягченную влагой.

69

Описание расставания Фьямметты с Панфило напоминает сцену прощания Овидия с женой перед отъездом поэта в ссылку («Печальные элегии», I, III, 91–92).

70

Это сравнение заимствовано у Вергилия («Энеида», II, 223–224): // Рев такой издает, когда, раненый, бык убегает // От алтаря... // Возможно здесь и воздействие Данте («Ад», XII, 22–24): // Как бык, секирой насмерть поражен, // Рвет свой аркан, но к бегу неспособен // И только скачет, болью оглушен.

71

Ср. у Овидия («Печальные элегии», I, III, 55–56): // Трижды ступал на порог, был трижды оторван, и шаг мой // Вдруг замедлялся: душа мне не давала уйти.

72

Ср. у Тибулла («Элегии», I, III, 19–20): // Ах, сколько раз, отправившись в путь, начинал вспоминать я, // Как оступился в дверях – знак неминуемых бед! // (Пер. Льва Остроумова)

73

Подобные мысли приходят в голову и покинутой Ахиллом Брисеиде. Ср. Овидий, «Героиды», III, 14: // Даже лобзаньем меня ты проводить не успел!

74

В ряде старых изданий книги Боккаччо после этих слов печаталась следующая фраза: «Печальная пребывала я, вся погруженная в мысли о нем, поворачиваясь то сюда, то туда в моей комнате, иногда же заложив руки за голову и опершись о кровать думала: «Теперь мой Панфило приехал туда!» и так стояла». Анализ рукописной традиции не подтверждает принадлежность Боккаччо этой фразы.

75

Ср. у Овидия жалобы Лаодамии, проводившей на Троянскую войну своего мужа Протесилая, царя одного из фессалийских племен, первым из греков павшего от руки троянцев («Героиды», XIII, 85–90). Миф о Лаодамии и Протесилае упоминается Боккаччо также в «Любовном видении» (XXVII, 52–78).

76

Ср. Овидий, «Средства от любви», 150 сл.

77

Ср. Овидий, «Наука любви», I, 347; III, 585–586; «Любовные элегии», II, XIX. 3 и 25.

78

Т. е. зима тянется слишком долго (Козерог – знак декабря, Рак – знак июня).

79

Небольшая возвышенность в Средней Италии, в Тоскане, около города Лукка. Но это ошибка Боккаччо: легендарный прорицатель Арунс смотрел с горных вершин у города Луни (см. в «Дополнениях» прим. Боккаччо).

80

Ср. Овидий, «Героиды», II, 3–6: // В день, когда, лик округляя, рога свои сдвинет Селена, // У берегов обещал якорь ты бросить моих. // Вот уж четырежды умер, четырежды вновь возродился. // Месяц...

81

В античную эпоху Луну иногда отождествляли с Просерпиной, дочерью Цереры и женой Плутона.

82

Т. е. сестра Феба.

83

Так грезила и покинутая Тесеем Ариадна (Овидий, «Героиды», X, 51–54): // Часто я к ложу мечусь, что обоих на ночь приютило, // Но до зари удержать, ах, не обоих могло // Вместо тебя, беглеца, хоть к следам я твоим припадаю, // Глажу постель, что за ночь тело согрело твое.

84

Т. е. времени зимней непогоды.

85

Сомнения Фьямметты, переходящей от надежды к отчаянию и от доверия к ревности, повторяют переживания фракийской царевны Филлиды, покинутой Демофонтом. См. Овидий, «Героиды», II.

Купить: <https://telnovel.com/dzhovanni-bokkachcho/f-yammetta>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)